



ОГОНЁК

№ 42 ОКТЯБРЬ 1966
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»



Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ОГОНЁК

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКИЙ И ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ

№ 42 (2051)

16 ОКТЯБРЯ 1966

44-й год издания

МОСКО



ВСКОЙ
КОНСЕРВАТОРИИ 100 ЛЕТ



КРЕПНЕТ ЕДИНСТВО

По приглашению Центрального Комитета КПСС и Совета Министров СССР в Советский Союз с официальным визитом прибыла партийно-правительственная делегация Польской Народной Республики, возглавляемая Первым секретарем Центрального Комитета Польской объединенной рабочей партии В. Гомулкой и Председателем Совета Министров ПНР Ю. Циранкевичем.

На Внуковском аэродроме руководителей братской страны встречали Генеральный секретарь ЦК КПСС Л. Н. Брежнев, Председатель Совета Министров СССР А. Н. Косыгин и другие официальные лица.

Товарищи В. Гомулка и Ю. Циранкевич нанесли в Кремле визит Л. Н. Брежневу и А. Н. Косыгину.

10 октября в Кремле состоялись переговоры руководителей Коммунистической партии Советского Союза и Советского правительства с партийно-правительственной делегацией Польской Народной Республики.

Во время переговоров, проходивших в обстановке братской дружбы и полного взаимопонимания, имел место широкий обмен мнениями по вопросам дальнейшего укрепления и расширения всестороннего сотрудничества между Советским Союзом и Польской Народной Республикой.

На снимке: советско-польские переговоры в Кремле.

Фото А. Устинова.

НОВАЯ ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ

Кремлевский Дворец съездов. Здесь, на торжественном собрании, посвященном Всесоюзному Дню работников сельского хозяйства, родилась новая прекрасная традиция: всенародно чествовать тружеников деревни. Сюда пришли трудящиеся столицы, партийные и советские работники, труженики полей из многих областей Российской Федерации, из других союзных республик, руководители партии и правительства.

Славно потрудились в этом году хлеборобы, и земля одарила их богатым урожаем. Значительно увеличилось производство мяса и молока. В чем причина успехов. Природа ли была милостива, год выдался удачным?

Константин Алексеевич Горбатенко, председатель колхоза «Червоный хлебороб», Донецкой области:

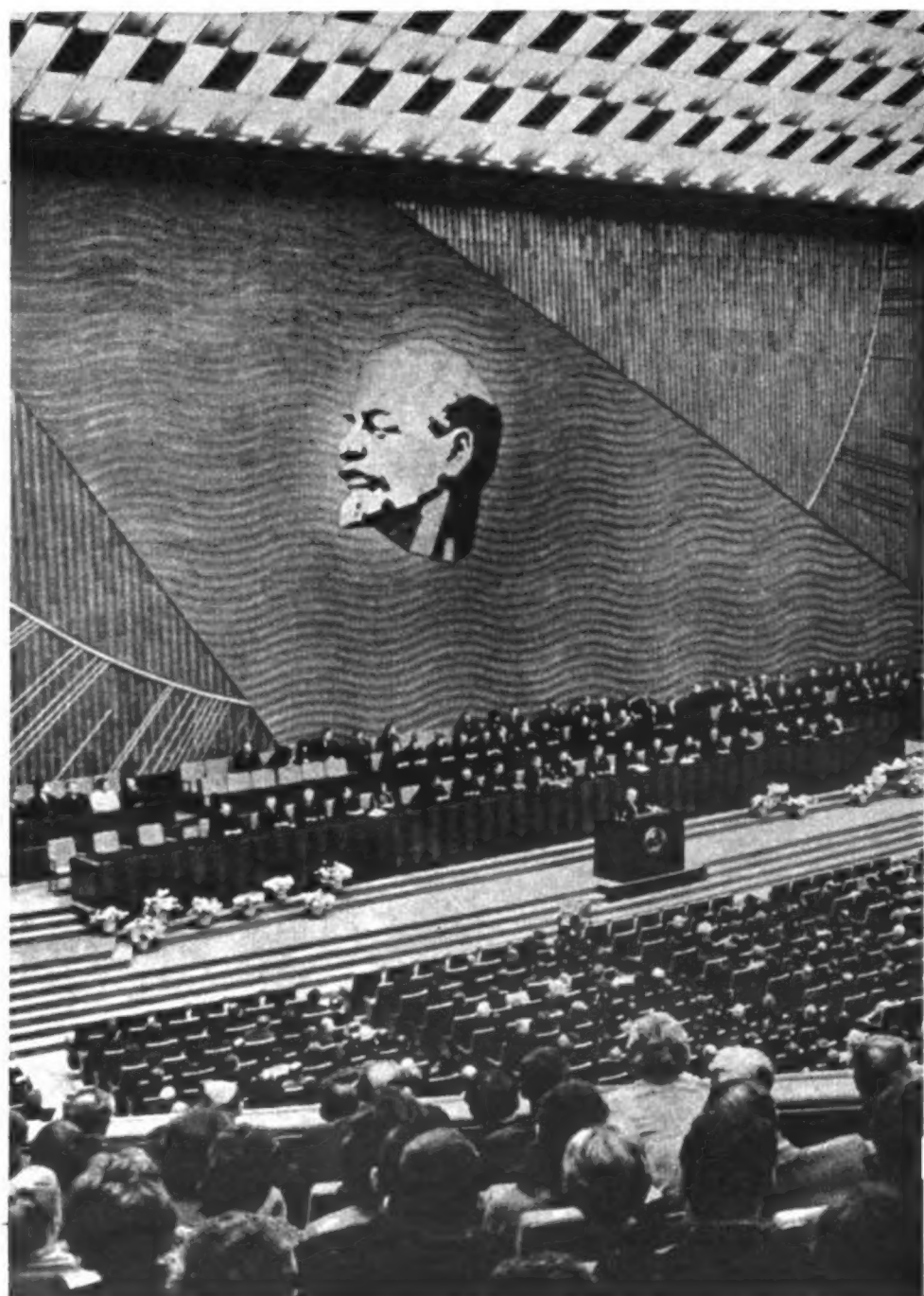
— Конечно, лето у нас было лучше, чем в прошлом году. Но ведь и раньше были неплохие годы, а мы таких урожаев никогда не собирали. Вот я и полагаю: главное — то, что земля почувствовала настоящие хозяйские руки, заботу о себе. Люди стали работать старательнее.

И тут без ошибки можно сказать: это результат решений мартовского Пленума ЦК КПСС. Пленум правильно, не преувеличивая и не приуменьшая, оценил наши силы и возможности, указал, что в подъеме хозяйства, играет значительную роль личная заинтересованность колхозника. В нашем колхозе, например, все сейчас стараются работать лучше, производительнее, потому что знают: больше зарабатывают. Скажем, доярки уже в прошлом году неплохо получали — по 130 руб-

лей в месяц, а нынче получают по 150. У механизаторов тоже увеличился заработок. Очень большое значение в жизни нашего колхоза имеют новые закупочные цены. Хорошо, что дан твердый, рассчитанный на пять лет план-заказ продажи государству нашей продукции.

Герой Социалистического Труда Анатолий Николаевич Гусев, комбайнер совхоза «Амос», Волгоградской области:

— Возможности у нашего сельского хозяйства большие, только мы — хлеборобы — еще зависим от погоды. Для нас, например, нынешний год оказался не из легких, дождей было мало. Но рук не опустили, делали все возможное, чтобы спасти урожай. Урожай собрали неплохой. Сейчас каждый знает, что старания твои не пропадут даром. Потому так и радостен наш новый праздник — Всесоюзный День работников сельского хозяйства.



На снимке: торжественное собрание в Кремлевском Дворце съездов.

Фото А. Пахомова и М. Скурихиной.



В Белоруссию приехали дорогие гости — писатели и кинематографисты Таджикистана во главе с членом-корреспондентом Академии наук Таджикской ССР Сатым Улуг-заде и народным артистом республики Борисом Кимягаровым. Началась неделя таджикской литературы, открывшаяся торжественным заседанием в здании Белорусской филармонии. Белорусские поэты и гости читали свои стихи, говорили о сердечной дружбе двух братских народов.

— Не беда, что Таджикистан отделяют от Белоруссии тысячи километров, — сказал в своей речи Сатым Улуг-заде. — Мы связаны с вами теплом сердец...

Гости поехали по городам и колхозам республики дорогами дружбы и братства.

На снимке: встреча таджикских гостей в Минском аэропорту.

Фото Л. Папковича.

РЕПЕРТУАР ДИНА РИДА. гастрوليрующего в СССР, чрезвычайно разнообразен. Это песни о борьбе за мир, необычайно тепло принятые зрителями, грустные, мелодичные песни о любви. Наконец, в его репертуаре ритмичные, стремительные твисты и шейки.

У слушателей особенный интерес вызвали антивоенные песни, сочиненные Ридом. В своем творчестве он остается активным борцом против угнетения и насилия, за свободу народов.

Рида полюбили у нас. И певец чувствует это. Недавно, в перерыве между песнями и аплодисментами, обращаясь к зрительному залу, он сказал:

— У меня сейчас такое ощущение, будто я привез сюда всю свою семью!



Дин Рид прав. У американского певца в нашей стране большая семья, — это все почитатели его оригинального таланта.

Н. Алексеева



Эти люди вынуждены расстаться со своими домами в Лагосе, где они спокойно жили до начала новых племенных столкновений в Нигерии. Английские колонизаторы оставили в наследство независимой Нигерии тяжелую проблему, посеяв в стране семена национальной розни.

ВЕК



СЛАВЫ

Арам ХАЧАТУРЯН,

народный артист СССР, доктор искусствоведения.

В июльский день 1918 года, в пору очень трудную для совсем еще молодой Советской республики, Владимир Ильич Ленин отдал приказ о национализации Московской и Петербургской консерваторий.

Мне довелось быть свидетелем почти полувековой жизни Московской государственной консерватории. Помню, как в послереволюционные годы в ее классы стала приходить одаренная молодежь, представляющая такие народности, у которых прежде не было не только своих музыкальных школ, но не было и профессиональных музыкантов.

Я хорошо помню первого молодого чечено-ингушского композитора, поступившего учиться в Московскую консерваторию, первых ее студентов из республик Средней Азии, из Чувашии, Мордовии, Башкирии, Татарии. Мне легко представить себе их глубочайшее душевное волнение, благоговейный трепет, с которым они переступали порог большого дома на неширокой Никитской улице (улица Герцена). Я и сам испытал это, будучи взрослым, когда вошел в класс замечательного русского композитора, одного из основоположников советского симфонизма, Николая Яковлевича Мясковского. День, когда меня приняли в Консерваторию, был и остается для меня счастливейшим. Я с гордостью почувствовал себя отныне приобщенным к славной, полной высокого значения для развития всей мировой музыкальной культуры жизни крупнейшего центра музыкального образования.

Славным было консерваторское прошлое.

В мае 1940 года, к 100-летию со дня рождения Петра Ильича Чайковского, Московской консерватории было присвоено имя великого композитора: он был одним из первых преподавателей.

На мраморных досках у входа в Малый консерваторский концертный зал золотыми буквами высечены имена воспитанников. Среди них — Сергей Танеев, Сергей Рахманинов, Александр Скрябин, Александр Гольденвейзер, Антонина Нежданова, Николай Голованов, — чья жизнь и творчество прославили и возвеличили русскую музыкальную культуру.

Школа исполнительского и композиторского мастерства, сложившаяся в Московской консерватории, получила мировое признание. Крепки ее традиции, прогрессивны принципы. В советские годы, осуществляя прямую преемственность консерваторских традиций, засверкало творчество Дмитрия Кабалевского, Тихона Хренникова, Святослава Рихтера, Мстислава Ростроповича, Якова Флиера и многих, многих других.

Но, разумеется, не только именами и творчеством своих лучших воспитанников славна Московская государственная консерватория. Величайшее прогрессивное значение ее деятельности, особенно в последние пятидесятилетие, в том, что глубоко демократическая по существу своему эта деятельность оказывала и оказывает огромное влияние на широчайшее распространение музыкальной культуры.

Известно, что консерватории, музыкальные училища и школы существуют и работают сейчас во всех республиках нашей большой страны. Всенародным становится музыкальное образование. И в числе тех, кто воспитывает юные таланты, — консерваторцы-москвичи, мои дорогие однокашники, ровесники и те, что годятся мне в дети. Консерваторию в Татарии возглавляет ныне Назиб Жиганов, в Армении — Лазарь Сарьян, в Грузии — С. Цицадзе, известные композиторы, в прошлом студенты Московской консерватории имени П. И. Чайковского.

Их всюду услышишь, наших консерваторцев-москвичей. И становится их с каждым годом все больше. В Японии уже давала концерты молодая скрипачка Екко Сато — ученица Леонида Когана, «москвичка» по музыкальному образованию. У меня сейчас занимается ее земляк, молодой композитор Нубио Терахара. Студентов каких только национальностей не встретишь в нашей Консерватории! Сегодня они учатся, завтра понесут людям большие музыкальные знания, полученные в Москве.

Как часто во время поездок за границу к советским музыкантам обращались с просьбами послушать молодой талант и помочь поступить в Московскую консерваторию.

Это вызывает чувство гордости. Это безмерно радует.

Век славы прожит нашей Московской государственной консерваторией имени П. И. Чайковского. Бессмертны — ее удел, как бессмертна великая музыкальная культура нашей великой Родины.



Большой зал консерватории. Сегодня дирижирует Геннадий Рождественский.

*«Вдохновения нельзя ожидать, да
и одного его недостаточно; нужен
прежде всего труд, труд и труд...»*
П. И. Чайковский.

ГАРМОНИЯ

На уроке. Вера Горностаева и Александр Слободяник.



После занятий.





Александр Васильевич Свешников — дирижер, педагог, директор консерватории.



Так рождается музыка. Т. Н. Хренников ведет занятия.



Композиторы. Дмитрий Борисович Кабалевский и Саша Ширинский.

И. ВЕРШИННА

Фото Л. ШЕРСТЕННИКОВА.

Московская консерватория. Эти слова словно рассыпаются аккордами, чтобы потом слиться в музыкальные фразы, темы, концерты, увертюры, симфонии. Сколько их прозвучало здесь за 100 лет, сколько было исполнено, сколько написано!

Этот список начинается М. И. Глинки: по предложению П. И. Чайковского увертюрой к опере «Руслан и Людмила» открылась 1 сентября 1866 года Московская консерватория. Сиромное торжество происходило не на улице Герцена, 13, — адрес, ныне известный без преувеличения музыкантам всего мира, а на Воздвиженке, в небольшом двухэтажном здании, что стоит и сейчас у самой Арбатской площади.

На выставке, посвященной 100-летию консерватории, есть карта, на которой флажками отмечены страны, юные таланты которых мужали и становились зрелыми музыкантами в этих стенах. Глядя на нее, нам подумалось: если отметить все города, где прозвучала музыка, рожденная или осмысленная в стенах Московской консерватории, пожалуй, на карте не останется не только белых пятен, но и свободного места. Это будет карта побед, карта завоеваний. Причем в каждом месте завоеванные исчисляются сотнями, тысячами, порой десятками тысяч, завоевателей — один или два. Первым завоевателем был Лев Оборин, в 1927 году покоривший слушателей Шопеновского конкурса проникновенной поэтической игрой. С тех пор имена советских музыкантов не сходят с уст, с афиш и газет мира.

...

Антон Рубинштейн писал когда-то: «Игра на инструменте — движение пальцев, исполнение — движение души». Создавал Московскую консерваторию, его брат Николай Рубинштейн и задался целью воспитывать исполнителей.

Как вы воспитываете ваших студентов? Вероятно, такой вопрос поставил бы в тупик не одного профессора. Есть программы, есть цель, есть задача, есть метод, есть

направление и, как всегда в воспитании, нет рецепта.

Поэтому мы и решили не задавать его, а попытаться посмотреть сами.

Если Станиславский говорил о театре, что он начинается с вешалки, то консерватория, можно сказать, начинается с диспетчерской и ее главнокомандующего — Натальи Алексеевны. Здесь узнают все: кто из профессоров на гастроллах, где, когда придет; кто преподает вокал; кто в Москве из лауреатов, когда будут; как прошел вчера концерт; кто занимается сегодня из пианистов; любой номер телефона и даже, что особенно важно для студентов, какой класс когда свободен. Но классы свободны бывают редко. А на этажах висят строгие объявления: «В коридорах и на лестнице играть на инструментах воспрещается». В первое же посещение консерватории мы убедились, что следуют этому указанию только пианисты.

Доска приказов. Все как во всех вузах. И длинный список имеющих академическую задолженность и список много короче — счастливых, что ее уже сдали и снова зачисляются на стипендию. Кто-то берет академический отпуск для ухода за новорожденным, другой в связи с демобилизацией из армии восстанавливается на курсе. Тут же объявления кафедр — небольшие листочки, написанные от руки. «Класс 21, пятница, 23, — открытое заседание кафедры виолончели и контрабаса. Руководитель — проф. М. Л. Ростропович. Исполнение 2-го концерта для виолончели Д. Д. Шостаковича. Исполнитель — проф. Ростропович М. Л. Начало в 15 часов». Деловое сообщение. А вникните в его суть: ведь это — первое исполнение нового произведения Шостаковича! А через два дня, объявленное на афише, оно вызовет невиданный ажиотаж среди слушателей, и историки музыки зафиксируют премьеру.

Мы не были на заседании кафедры, мы слушали Ростроповича на уроке. Слушали, как играет он вместе со своими студентами, как разговаривает с ними. И трудно сказать, что было интереснее. Стоило студенту сыграть бледно, тускло, Ростропович тут же показывал ему это, несколько утрируя,

ПЛЮС

АЛГЕБРА

Андрей Эшпай и Родион Щедрин на заседании студенческого клуба.



Каринэ Георгиани, Мария Чайковская и Елизабет Вилсон (Англия) в классе у Ростроповича.



ЗОК

Я. МИЛЕЦКИЙ

Если заголовок этого репортажа и напоминает по аналогии «Золотого теленка» И. Ильфа и Е. Петрова, скажу в оправдание, что он все же полностью соответствует действительности, ибо речь пойдет о корове, которая на самом деле является золотой. Еще пойдет речь о рогах и копытах, тех самых, которые заготавливала контора, созданная Остапом Бендером. Но великий комбинатор дал, оказывается, в этом деле маху, в чем тоже постараемся убедить читателя.

Когда попадаешь в район Калитниковских улиц, среди которых есть и Боенский проезд, и Воловья, и Скотопрогонная улицы, сразу же понимаешь, что попал в царство мясников. По мостовой снуют огромные рефрижераторы и крытые грузовики. На фасадах домов красуются вывески холодильников, заготовконтор, баз, институтов — научно-исследовательского и учебного, техникума, производственно-технического училища, в котором, кстати сказать, некогда учился прославленный герой-летчик Виктор Талалихин, совершивший первый в истории авиации ночной таран при защите Москвы от налета фашистской авиации в августе сорок первого года. Наконец, вдали показываются установленные на воротах две массивные фигуры золотых коров. Это и есть Московский орден Ленина мясокомбинат, о котором пойдет речь в этом репортаже.

— Издавна, еще во времена Петра I, мясники заполнили этот район, — рассказал мне директор комбината Николай Федорович Алексеев, сам работающий в мясной промышленности долгие годы. — Скотобойный промысел всегда привлекал русских купцов, наживавших на этом деле большие барыши. Среди скотопромышленников существовала целая иерархия. Начинаясь она с бегунка — человека, который бегал по деревне и узнавал, кто продает коровенку, а кто свинью. Узнав, тотчас доносил об этом шибай — купчишке, сшибавшему скот из ряда деревьев. А тот уж продавал его прасолу — купцу солидному, собиравшему целые гурты и гнавшего их своим ходом в Москву, сюда, в Калитники. Здесь

как бы оглушала исполнение, и тут уж становилось ясно каждому. Иногда профессор со студентом играл в унисон — помогал, иногда только слушал, иногда только разговаривал. Но это происходило тогда, когда слушать было нечего. Урок Ростроповича дает всегда открытый. В короткие перерывы, пока вызванный студент берет ноты или вынимает виолончель, а маэстро и в этом требует сноровки и темпа, в классе царит непринужденная обстановка. Ростропович сообщает Карине Георгиевне, получившей на III конкурсе Чайковского 1-ю премию, что всюду его о ней спрашивают. В ходе разговора выясняется, что в октябре профессор и его ученица будут давать концерты «по соседству»: он — в Западном Берлине, она — в Берлине — столице ГДР.

— Я непременно к тебе приеду! Вечером мы присутствуем на заседании клуба музыковедов и композиторов — встрече студентов с композиторами Андреем Эшпаем и Родионом Щедриним. Недавние студенты, молодые педагоги быстро находят контакт с собравшимися. Тема — рассказ о поездке в Западную Германию, но не туристские впечатления, а музыка. Музыка авангардистов, что звучит часто по западногерманскому радио и много реже в концертных залах; слушатель не ходит на них. О прогрессивных музыкантах и о композиторах, которые пуще всего боятся прослыть отсталыми. А слушателю уже надоело удивляться, они хотят настоящей музыки.

Словно продолжение этого разговора мы услышали на уроке у Тихона Николаевича Хренникова. Молодые композиторы должны знать самое разное творчество своих сверстников за рубежом, и Хренников из частных поездок привозит им ноты, записи, рассказывает о новых течениях.

Как чужды эти формальные поиски тому, что влечет в искусстве, музыка его учеников. Вот Тания Чудова. По количеству написанной музыки можно подумать, что пишет она уже десятки лет. Ее пьесы для струнного оркестра вчера передавали по радио; исполнитель — струнный оркестр консерватории — играл ее уже в Югославии и Чехословакии. Танины романсы поют вокалисты, а сейчас она пишет детскую оперу по сказке Пушкина «О мертвой царевне». И Таня серьезно, низким басом, исполняет хор 7 богатырей, для которого она использовала народные мелодии, записанные летом во время фольклорной экспедиции. На народных тенетах девушка написала еще пять хоров. Идет серьезный разбор партитуры, партии проверяются по голосам, обсуждается астулление, музыкальные характеристики.

Саша Воробьев записывал летом на Волге народные напевы. Одобрив материал, гармоничность, Хренников требует большей образности музыки, необходимость подчеркнуть ведущее состояние, раз-

нообразить фортепианную технику... Превосходный пианист, он тут же у рояля иллюстрирует свою мысль... И все присутствующие сообщают ищут необходимое решение. Вот эта атмосфера дружелюбия, отсутствие зависти и эгоизма, стремление помочь, потребность идти навстречу товарищу очень пленяли нас. Каждый студент или аспирант — самостоятельный своеобразный и талантливый художник; большинство из них уже авторы балетов, известных кинофильмов, концертов, но главное — вот эта творческая и человеческая щедрость, которую воспитал в них Хренников, воспитала alma mater.

О творческой и человеческой щедрости мы не раз думали во время занятий в классах. Ведь педагог-то чаще всего сам тоже исполнитель; как же нужно раствориться в ученике, чтобы во время урока совершенно забыть о своей творческой индивидуальности! Особенно поразило это на уроке молодого педагога.

Не так давно имя Веры Горностаевой появилось на афишах. Ученица Генриха Густава Нейгауза, она сразу заявила о себе как очень темпераментный, целенаправленный, адекватный пианист. Не удивительно, что сразу после аспирантуры параллельно с исполнительской деятельностью она занялась преподаванием.

С педагогом Горностаевой москвичи познакомились этим летом. Ее ученик Александр Слободянин стал лауреатом конкурса Чайковского, а самое главное — завоевал любовь слушателей. «В виртуозном отношении он может творить чудеса, и в музыкальном отношении его исполнение прекрасно». Вряд ли так точно, как Нейгауз, смогут сформулировать свои впечатления слушатели, но, видимо, интуитивно они думали то же. И в день юбилей консерватории, когда концертный зал имени Чайковского открывал свой сезон, солистом выступал Александр Слободянин. Горностаева в это время выступала в Иркутске, но аплодисменты из зала Чайковского адресовались и ей. Ведь даже Нейгауз признавал, что у Слободянина «стихийный талант. А управлять стихией трудно». Вера Васильевна нашла в себе силы и педагога, и музыканта, и человека и не только научила хорошо играть, но воспитала художника. Теперь она спокойно отпускала его в большое плавание. Юноше после выступления на юбилей консерватории предстояли сольные концерты в США. А вниманием Веры Васильевны уже владела Женя Захарьева — ученица из Болгарии, которая готовилась к выступлению на конкурсе Шумана.

В этот день в Англии, в Лидсе, на конкурсе, в котором участвовало около 100 пианистов, ученик Горностаевой 19-летний Семен Кручин получил 2-ю премию, разделяя ее с другой воспитанницей Московской консерватории, Аллой Постниковой. Оба играли на по-

следнем туре концерт Чайковского.

Чайковский... Не раз за наше пребывание в Московской консерватории мы вспоминали о том, как заботился он о воспитании молодых музыкантов, сколько энергии и инициативы проявил после смерти Рубинштейна, добиваясь назначения на пост директора молодого С. И. Танеева. Петр Ильич был и инициатором приглашения в консерваторию Сафонова, сменившего через восемь лет Танеева.

С Чайковским мы «встретились» и дома у Дмитрия Борисовича Кабалевского.

— Я всегда занимаюсь дома. Библиотека под руками, а учить на примерах хорошей музыки всегда убедительней.

Клавиратура рояля. Три руки — две большие, уверенные, сильные, третья робкая, мягкая, детская... Среди учеников Дмитрия Борисовича, с которыми он занимается композицией, есть и несколько ребят из ЦМШ.

Саша Ширинский показывал квартет — свою летнюю работу, и Дмитрий Борисович сейчас разбирал отдельные его части. Но мало-помалу разговор перешел в дискуссию. Тема вечная. Она волновала когда-то Пушкина, написавшего «Моцарт и Сальери». Надо ли алгеброй поверять гармонию.

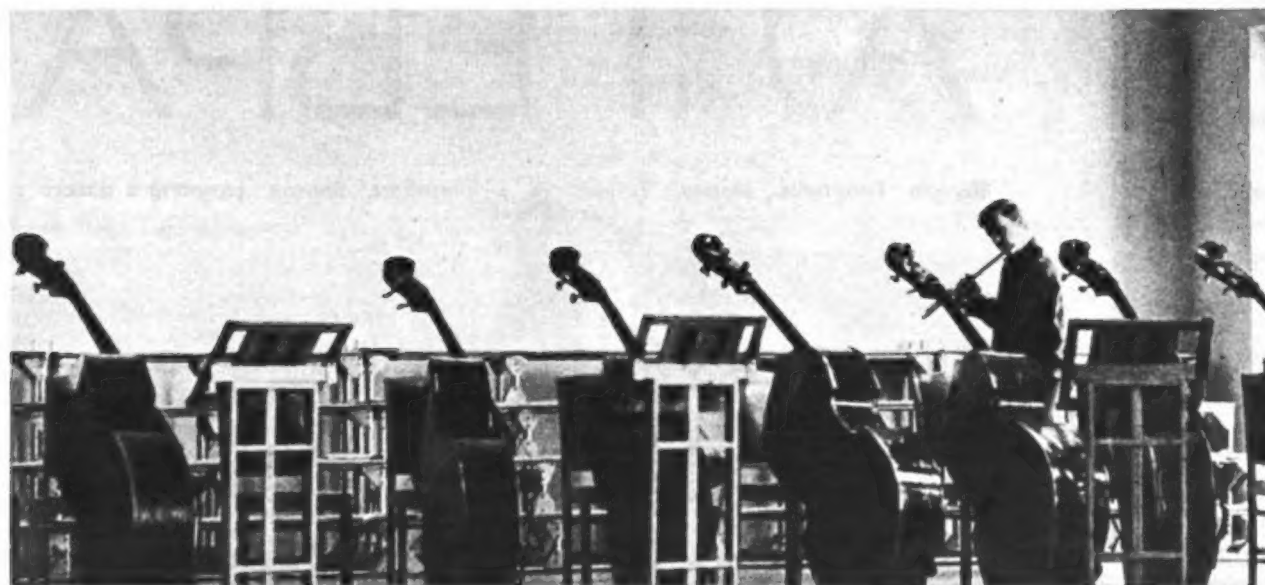
На помощь был призван Чайковский, «Евгений Онегин», последний дуэт. В этой сцене невероятное нарастание напряжения у Онегина — и от фразы к фразе идет нарастание в музыке. Все выше, выше берет он ноты и в заключительной фразе: «О жалкий жребий мой!» — единственный раз во всей партии Онегин берет соль, ноту, предельную для баритона; правда, тут же композитор написал и более низкую ноту — вариант для слабого певца...

— Может, у Чайковского это и интуиция, но она вырабатывается годами труда.

В тот же вечер мы отправились в Оперную студию консерватории, где студенты по традиции ставили «Евгения Онегина». Как известно, Чайковский не пожелал отдать оперу на императорскую сцену, где царил рутинизм и штамп, и предложил ее Рубинштейну для постановки в Оперной студии консерватории. С тех пор, вот уже более 80 лет, вокалисты, заканчивающие Московскую консерваторию, непременно поют в своей студии «Евгения Онегина». Такова традиция. А сколько традиция обязательна, мы убедились на одном из студенческих спектаклей, в котором Татьяна пела народная артистка Галина Вишневская.

Великолепная исполнительница партии Татьяны на сцене Большого театра, много раз с триумфальным успехом исполнявшая ее за рубежом, Вишневская сейчас, уже знаменитой артисткой, защищала диплом.

Честно считать себя дипломантом Московской консерватории заманчиво даже для знаменитостей.



Флейта и контрабасы.

ЛОТАЯ ОРОВА

торги велись с рассвета и до полудня, когда три удара колокола возвещали их конец и купцы, ударили по рукам, отправлялись в соседний трактир обмывать сделки. Что же представляет собой Московский мясокомбинат? Построили его еще в 1937 году, и считался он тогда передовым предприятием для своего времени. С тех пор он подвергся полной технической реконструкции и вдвое увеличил выпуск продукции. Однако сейчас он с трудом удовлетворяет сильно возросшие потребности столицы, хотя и работает круглые сутки.

Главный инженер Борис Аганесович Геворгян привел несколько цифр, характеризующих размах предприятия. В день нашей беседы было выгружено 397 вагонов скота. На подходе, где-то возле станции Люблино, находилось еще 79 вагонов, а в пути — 297.

Но вот еще более ошарашивающие сведения. Колбасные заводы комбината передали сегодня для продажи населению четыреста тонн колбасных изделий. Но этого Москве мало: обычно столичные магазины продают за день до семисот тонн. Мясники помнят: рекордным был один из последних дней декабря шестьдесят четвертого года, когда магазины распродали свыше тысячи тонн.

Узнал я и о том, что по потреблению колбас и мяса наша страна стоит на одном из первых мест в мире и что меньше всего мяса едят японцы; что советская колбаса делается исключительно из хороших сортов мяса, в то время как американцы используют для этого отходы; что мясокомбинат выпускает не больше не меньше, как 170 сортов колбасных изделий, есть среди них такие, которые пользуются всемирной известностью.

Как-то Борис Аганесович привез такую высокосортную советскую колбасу в Брюссель на совещание, где, по его словам, собрались лучшие умы мясной промышленности чуть ли не со всего света. Отведдав нашу колбасу, они пришли в восторг и все пытались рецепт ее приготовления.

— А она и в самом деле хороша! — не без гордости восклицает главный инженер. — Знаете ли вы,

что рисунок такой колбасы напоминает ночное южное небо, усыпанное мерцающими звездами...

Я понял: Борис Аганесович по-настоящему влюблен в свою профессию.

— К сожалению, — говорит он, — мощности комбината пока ограничены, хотя он и самый большой в стране и не уступает многим зарубежным. Спрос все растет и растет. Но ни одно предприятие в мире не выпускает столько колбасы, как наш комбинат.

— А чикагские бойни? — спрашиваю Бориса Аганесовича, зная, что он побывал в Соединенных Штатах Америки.

— Чикагских боен, некогда таких известных, больше не существует, — отвечает Геворгян. — Счетно-вычислительные машины подсказали скотопромышленникам, что им выгоднее продать земельные участки, занятые бойнями, для возведения там небоскребов, а убой скота производить на юге, где его откармливают. Теперь и Чикаго и Нью-Йорк получают оттуда охлажденное мясо либо поездами, либо авторефрижераторами. Правда, поезд с мясом идет там со скоростью 130 километров в час, а автомобили за сутки доставляют его даже на Аляску.

Об этом я вспомнил, когда пришел на железнодорожную платформу во дворе комбината. В загонах стояло, мыча, блея и хрюкая, то, что мясники называют одним словом: сырье. Но в отличие от всякого много сырья это требует особого ухода: его надо кормить, поить и даже лечить.

На железнодорожных путях — два длинных состава. Вид у «сырья» был усталый, но все же достаточно упитанный.

— Откуда свинки?

— Со станции Кантемировка, — ответил проводник, человек пожилой и основательно обросший, видимо, за время пути.

— Долго ли ехали?

— Да почитай больше трех суток... Под Москвой всю ночь простояли...

Значит, о скорости 130 километров в час пока можно только мечтать.

Теперь мы пройдем с вами тот путь, который предначертан «сы-

рью», и убедимся, что корова действительно является золотой. Первый этап — корпус предубойного содержания скота. Это огромное шестизэтажное здание с пологими лестницами. Рев стоит тут страшный. Животные принимают здесь душ, и горячий и холодный, а он им явно не по душе.

Но вот корова туша, повешенная на крюк, пошла гулять по конвейеру. В течение сорока минут она будет медленно переходить из рук в руки, пока не превратится в обычную, так хорошо знакомую нам говядину.

Тут-то я и увидел настоящих мясников! Не тех, что стоят за прилавками мясных магазинов и произносят стереотипную фразу «мяса без костей не бывает», чем немало досаждают домашним хозяйкам. У конвейера стояли богатыри: рослые, сильные, широкоплечие, в резиновых передниках и резиновых сапогах, с большими и острыми ножами в руках. Разделка туши требует больших физических усилий, хотя мясники и применяют всяческие инструменты, облегчающие их труд.

Прежде всего из убитого животного выпускают кровь, которая по трубам доставляется в медицинский цех для выработки лечебных препаратов — в том числе и гематогена — и использования в колбасном производстве. Не меньшее богатство несет человеку и коровья голова. Из глаз ее вырабатывается препарат стекловидное тело, при введении которого улучшается общее состояние больного человека, появляется бодрость, крепкий сон, хороший аппетит, повышается общий тонус организма.

Коровий язык, который, кстати сказать, так редко появляется на прилавках, тоже приносит большую пользу науке. Я видел сотни языков, доставленных в лабораторию, где в стерильных условиях лаборанты снимали с них слизистую оболочку, которая используется для выращивания вируса ящура и изготовления противоящурной вакцины.

Я иду вдоль конвейера и наблюдаю одну операцию за другой. Ничто из коровьего богатства не пропадает, все тщательно собирается: поджелудочные и надпочечные железы, желчь и слизистая оболочка тонких кишок, кости и даже волосы на ушах, из которых делают специальные кисточки для художников. Буренушка не обошла и музыкантов: она дает им смычок и струны. Даже часовщики помнят ее добрым словом: масло для часов производится тоже не без ее участия. Мясники утверждают, что не будь золотой коровы, не было бы и губной помады. В общем, подсчитано, что коровушка дает чуть ли не с полтысячи всяческих полезных вещей.

Когда мы шли вдоль конвейера, мне указали на трех человек, внешне ничем не отличавшихся от остальных: те же резиновые передники, крепкие руки и острые ножи. Это два ветеринарных врача и студент ветеринарной академии. Они берут с конвейера печеньку, сердце, легкие, рассекают их резким ударом ножа и осматривают. Малейшее подозрение — и туша снимается с конвейера. Труд врачей требует такого напряжения, что, проработав час, они отправляются на часовой же отдых, а их место занимают другие.

Еще одна операция — клеймение. Опытным взглядом технолог определяет качество мяса и ставит соответствующие печати, которые мы видим и в магазинах. Однако тонкости клеймения туш вряд ли известны покупателям.

Оказывается, на мясо первой категории технолог ставит круглое клеймо, причем в пяти местах. Если же вы увидите на туше два квадратных клейма, знайте: это мясо второй категории. Тощее мясо вы и сами узнаете, но все же учтите: клеймо на нем треугольное.

Обогатившись такими познаниями, весьма полезными при посещении мясных магазинов, я все же должен заметить, что мяса без костей действительно не бывает, хотя по конвейеру медленно плыли туши, на которых чаще всего красовались круглые клейма.

Совершив сорокаминутный вояж по конвейеру, одни туши направлялись в мясные магазины для продажи, а другие — для выработки колбас. На колбасном заводе буренушки превращались в фарш, из которого делали колбасы, сосиски и сардельки. А кости отправлялись частично на заводы для производства клея, костной муки и других вещей, а частично пересылались в соседний цех, где из них делают миллионы пуговиц, расчески, зубные щетки и мундштуки.

Колбасы из говяжьего мяса встречаются на складе со своими родичами, изготовленными из свиной, с окороками и корейками, поступившими из цеха, где свиным тоже отдали человеку все, чем наградила их природа.

Теперь, чтобы окончательно убедить читателя, что русская буренушка действительно золотая корова и что Остап Бендер опростоволосился со своей конторой по заготовке рогов и копыт, мне остается только проводить вас в мастерскую, где из этих рогов и копыт изготавливаются чудесные вещи. С копытами просто — из них делают пепельницы, а вот рога превращаются под руками талантливых мастеров в произведения искусства.

Этим волшебным превращением руководит молодой еще человек, Виктор Антонов, студент последнего курса Московского университета, кафедры теории и истории искусства. Молоды и остальные работники мастерской — Юрий Поляков, Лев Гельвановский, Анатолий Зюзин. В ассортиментном кабинете собрана продукция мастерской. Можно долго стоять у стеклянных шкафов и любоваться тем, во что превратились простые коровьи рога: юрким воробушком, оцетинившимся дикобразом, маленькими лошадками, лосем, жар-птицей...

Где купить эти безделушки и дорого ли они стоят? Недорого, всего несколько рублей. Бывают они изредка то в ГУМе, то в магазине подарков. Почему изредка? Торговые работники, ссылаясь якобы на требования потребителей, предпочитают заказывать слонов и аляповатые цветы, сделанные из рогов.

...У входа в цех, обрабатывающий свиные туши, я увидел плакат. Он извещал, что вечером состоится футбольный матч и что в нем будут участвовать две популярные команды комбината — «Корейка» и «Окорока».

МИР ОБРАЗОВ РЕФРЕЖЬЕ

А. ЧЕГОДАЕВ,
доктор искусствоведения, профессор

Среди довольно однообразных, бесконечно длинных, уходящих словно на край света улиц Сан-Франциско я особенно хорошо запомнил одну — улицу Миссии, названную так в честь Миссии святого Франциска Ассизского, основанной в конце восемнадцатого века испанскими монахами на месте будущего города Сан-Франциско и впоследствии названной Миссия Долорес. Сохранившееся до наших дней приземистое и суровое здание Миссии, построенное в испанском вкусе, было открыто для немногочисленных тогдашних обитателей Тихоокеанского побережья в 1776 году, почти в те же самые дни, когда на другом конце Северной Америки, на берегах Атлантического океана, тринадцать английских колоний восстали, объединившись в союз, против своей метрополии и провозгласили торжественную «Декларацию Независимости», написанную великим американским философом-просветителем Томасом Джефферсоном.

Но не этот старый, аскетически мрачный испанский монастырь, ставший колыбелью будущего огромного города, ровесник Соединенных Штатов Америки, поразил мое воображение. Нечто гораздо более неожиданное, интересное и значительное оказалось в противоположном конце длинной и пустынной улицы Миссии. В уютном и унылом районе доков, вдалеке от роскошных универсальных магазинов и шикарных ночных клубов центра Сан-Франциско, вдалеке и от стандартных туристских маршрутов, стоит ничем снаружи не примечательное и не менее скучное и мрачное на вид, чем Миссия Долорес, невысокое здание Ринкон-Хиллского почтового отделения, сооруженное в 1939 году без особых признаков творческого вдохновения архитектором Луисом Саймоном. Этому рядовому и скромному почтамту выпала честь стать главной художественной достопримечательностью не только Сан-Франциско, но всего района сан-франциско-ской бухты благодаря ослепительно сверкающему и сияющему радужными красками, великолепному циклу стенных росписей Антона Рефрежье, идущих вдоль верха стен всего огромного операционного зала почтамта.

Про эти росписи нельзя сказать, что они украшают зал лишь своим декоративным блеском: в их подлинной и глубокой красоте заключено очень большое образное и идейное содержание. Эти двадцать девять многофигурных картин, выполненных казеиновыми красками по сырой штукатурке и достигающих каждая почти шести метров в ширину и примерно двух с половиной метров в высоту, изображают в последовательной смене монументально-величавых и в то же время островыразительных сцен всю историю Калифорнии: от патриархальной жизни древних индейских племен, от прихода испанских монахов и солдат, от первых переселенцев из восточных штатов и до второй мировой войны и основания Организации Объединенных Наций. Два века бурной, тревожной, драматической истории словно легли между тишиной тенистого кладбища Миссии Долорес и этим кипящим и сверкающим миром художественных образов, рожденных мыслью и воображением одного из крупнейших художников Америки двадцатого века, который словно подвел в своих фресках взволнованный, во многом трагический, в чем-то обнадеживающий итог империалистической и малоорганизованной жизни Сан-Франциско за все время его существования.

Такую роспись — монументальную и по своим размерам, и по своей художественной форме, и по своему образному строю — мог создать только большой художник, обладающий не только высоким профессиональным мастерством, но и широтой кругозора, горячим сердцем и неподкупной честностью мысли. Глядя на эти фрески, легко понять, почему американские туристские агентства не очень-то охотно показывают Ринкон-Хиллское почтовое отделение бесчисленным приезжим, американцам и иностранцам, явившимся полюбоваться на самый красивый город Америки, как величают Сан-Франциско (и довольно справедливо!) туристские проспекты. Во фресках Рефрежье, кроме их художественного совершенства, заключена опасная взрывающаяся сила, и не случайно вокруг них вот уже два десятилетия идет

острая и напряженная борьба, и даже Конгрессу Соединенных Штатов приходилось рассматривать внесенный одним калифорнийским конгрессменом билль об уничтожении ринкон-хиллских росписей. К счастью, билль этот был провален в результате мощного заступничества прогрессивных сил Америки, но защищать роспись Рефрежье приходится и сейчас, у нее много сильных и опасных врагов.

Действительно, Рефрежье слишком сильно и слишком ясно положил свет и тени на свои обобщенные образы истории Калифорнии. Он нашел суровую и строгую простоту и значительность в обликах и характерах тех людей, которые честно жили и работали на калифорнийской земле и творили все лучшее, что вошло в культурный фонд американского Дальнего Запада. В таком строгом гуманистическом плане изображены им и индейцы, работающие на испанских миссионеров, и переселенцы, преодолевающие великие трудности пути через Скалистые горы, и рабочие, прокладывающие Тихоокеанскую железную дорогу, и обитатели Сан-Франциско, пережившие трагические дни страшного землетрясения и пожара, которые почти полностью уничтожили город в 1906 году. С глубокой симпатией написал Рефрежье включенные им в различные эпизоды истории портреты замечательных людей: здесь можно встретить прогрессивных журналистов и общественных деятелей, знаменитых писателей и ученых, внесших свой вклад в культуру Калифорнии, как Марк Твен и Лютер Бербанк, Брет Гарт и Джек Лондон или прославленный английский писатель Роберт Луис Стивенсон, живший в Сан-Франциско перед своим последним путешествием в Океанию.

Но рядом с такими людьми во фресках Рефрежье возникают и совсем другие человеческие образы, не делающие чести истории Дальнего Запада: авантюристы и спекулянты, хлынувшие в Калифорнию после открытия там золотоносных россыпей в 1848 году, погромщики-реакционеры, объединившиеся в банды под именем виджиленти (бдительные) и расправлявшиеся со своими политическими противниками и неграми, желтые профсоюзные лидеры или бесцеремонно и безгранично наживающиеся капиталисты и т. п. Рефрежье не стал опускать или маскировать темновые стороны калифорнийской истории прошлых времен или наших дней, изобразив и столкновение сторонников Линкольна с защитниками рабовладения во время Гражданской войны 1860-х годов, и бесчинства расистов или поклонников фашизма, и линчевание негра. Его отношение к реакции и защита демократических и гуманистических принципов недвусмысленно и ярко выступают в каждом эпизоде истории, им изображенном, и такое же чувство возбуждает его роспись у зрителей, но, конечно, не у тех, кто сам является потомком виджиленти или современным берчистом.

И в то же время сила воздействия этих фресок — в их душевной взволнованности, в патетической и напряженной экспрессии выражения и жеста, в строгом и точном отборе самого существенного и главного, в покоряющем звучании колорита, построенного на прозрачных, светоносных оттенках красного, розового, лимонно-желтого, лазоревого цвета. Весь зал Ринкон-Хиллского почтамта кажется пронизанным этими светоносными потоками цвета, сразу же настраивающими зрителя на приподнято-праздничный, далекий от будничной прозы и в то же время напряженно-серьезный и сосредоточенный лад.

Антон Рефрежье был еще молодым человеком, когда получил заказ на эту роспись (заняв первое место на конкурсе) от администрации общественных работ, учрежденной президентом Франклином Рузвельтом для помощи художникам после великого кризиса 1929—1931 годов и для придания искусству широкого общественного звучания: именно при Рузвельте было создано по всем Штатам множество монументальных росписей в университетах, школах, больницах, почтамтах и других зданиях такого же характера — больше, чем за всю предыдущую и последующую историю США. Но получил Рефрежье этот заказ и одобрение своих эскизов в 1940 году (когда только что было построено здание почты), а выполнять и заканчивать работу ему пришлось лишь после войны, в 1946—1949 годах, при президенте Трумэне. Теперь работе художника ставились всякие препоны. Ему



А. Рефренко. МИР. 1950.



А. Рефренъ. СВЕРХЧЕЛОВЕКИ (Сталинградская битва). 1945.

Картина подарена автором городу Волгограду.

ПРОЦЕССИЯ ПРИБЛИЖАЕТСЯ. КУ-КЛУКС-КЛАН.



на было позволено включить в роспись портрет Рузвельта, которым он хотел почтить его память, были запрещены и некоторые слишком уж резко намеченные художником эпизоды.

Трудно представить себе что-либо более далекое от теории искусства для искусства, от минимого принципа самовыражения художника и других софизмов, на которых строится вся художественная программа абстрактного искусства или поп-арта и других течений, враждебных какой-либо жизненной правде.

Рефрежье выполнил много и других монументальных росписей в разных штатах и городах Америки: в клинике Майо в Рочестере (штат Миннесота), в Сиракузском университете (штат Нью-Йорк) и т. д. Всюду и везде он брал большие и важные темы, особенно темы творческого труда. Он привел меня однажды в круглый вестибюль постоянной выставки тканей на Пятой авеню в Нью-Йорке; во всю высоту двухсветного зала поднялось здесь огромное вертикальное панно, написанное Рефрежье и изображающее в удивительно красном и величавом строе работу тканей, ритмически уравновешенное, сияющее светлыми розовыми, голубыми и желтыми цветовыми ударами, сливающимися в сильную и радостную, отнюдь не сентиментальную и не приукрашенную гармонию.

Антону Рефрежье более всего и свойственно подобное обобщенное и монументальное мышление, часто пользующееся языком символов, даже языком притчи или сказки, но неизменно обращенное к людям, к живой жизни во всей ее противоречивой сложности и выносящее жизненным явлениям справедливую оценку. Несомненно, он многому научился у великих мексиканских живописцев-монументалистов — Диего Риверы, Ороско, Сикейроса (с Сикейросом его и до сих пор связывает близкая дружба), но вместе с тем его искусство стало, в свой черед, одной из важнейших направляющих сил в реалистическом течении современного американского искусства. Он связан дружескими отношениями и творческой близостью с крупнейшими прогрессивными художниками Америки наших дней, такими, как Эдуард Хоппер, Рафаэль Сойер, Рокуэлл Кент, Джек Левин, Джозеф Фёрш и другие, то есть теми мастерами, что являются достойными наследниками и продолжателями великих американских реалистов конца XIX и начала XX века — Уинслоу Хомера, Джеймса Уистлера, Томаса Икинса, Роберта Генри, Джорджа Беллоуза. Искусство Рефрежье опирается на глубокую и большую традицию и поддерживается творчеством художников такого же порядка, как и он сам. У них есть уже и достойная смена.

Нам дорого и близко это честное и искреннее творчество, могущее быть и напряженно-драматическим и тонко-поэтическим, но всегда проникнутое чувством великой ответственности художника перед своим временем и своим народом. Вся жизнь Антона Рефрежье представляет собой достойный глубокого уважения пример служения людям, служения большим гуманистическим идеям двадцатого века.

Нас трогает его нелегкая судьба еще и потому, что он многими фактами своей биографии и многими сторонами своего творчества связан с русской и советской культурой. Он родился в 1905 году в Москве — отец его был француз, мать русская, — и его предки по материнской линии были мастерами русского искусства — русской музыки, русского балета. Он провел юношеские годы в Париже, сложился как художник в Соединенных Штатах Америки и живет там сейчас, но он навсегда сохранил привязанность к русскому народу и русской культуре. Непосредственное отношение к советской культуре имело и то, с чего Рефрежье начал в тридцатые годы свой творческий путь: он стал тогда одним из участников Клуба Джона Рида, войдя в группу политических рисовальщиков, которую возглавлял Роберт Майнор; деятельность этих художников, карикатуристов и иллюстраторов прогрессивных и коммунистических журналов и газет сложилась под сильнейшим и определяющим влиянием Великой Октябрьской революции. Когда Рефрежье стал по преимуществу художником-монументалистом (он стал на этот путь со времени успешного выполнения росписи для американского павильона Всемирной выставки 1939 года в Нью-Йорке), он перенес в свои огромные фрески и панно темперамент публициста и политического оратора, с каждой работой углубляя свое философское мышление и свою склонность к большим обобщениям, но никогда не теряя острой и непреходящей актуальности тем и образов.

Не удивительно, что во времена сенатора Маккарти Рефрежье подвергся гонениям и ему с семьей пришлось долго бедствовать, так как его лишили возможности работать над монументальной живописью, как и продавать свои станковые картины; ему пришлось уйти и из университета, где он был профессором. Но зато он был избран членом Всемирного Совета Мира и участвовал в его стокахольмских сессиях; он стал также одним из руководителей Национального комитета американско-советской дружбы, возглавив его комиссию по изобразительным искусствам. Он неразрывно связал свою жизнь и свою работу с борьбой за мир во всем мире. Но никто и не сомневался, на чьей стороне будет он в той глубокой борьбе двух культур, которая с давних пор делила непреходимой трещиной культуру Соединенных Штатов, а в наши дни достигла особенной остроты и непримиримости.

Недавно Антон Рефрежье больше месяца был в Советском Союзе — гостем Института советско-американских отношений и Союза художников СССР. У него и раньше было много друзей в Советской стране, теперь их стало еще во много раз больше. Он встречался со многими художниками, в том числе художниками-монументалистами, так же как и со студентами Мухоминского и Строгановского училищ, где преподается монументальная живопись, и выяснил близкое совпадение или тождество взглядов на задачи, возможности и пути развития монументальной живописи в настоящем и будущем. Еще до своего приезда он отправил в Москву выставку своих работ, которая — впервые после двух выставок Рокуэлла Кента — дала возможность советским зрителям более, чем обычно, широко и углубленно представить себе характер творчества одного из наиболее интересных и выдающихся мастеров современного американского искусства.

На этой выставке, естественно, не могли присутствовать его монументальные работы — пришлось довольствоваться немногими эскизами или подготовительными этюдами, по которым только относительно можно представить себе, что получилось у него в конечном счете. Но интересно и многозначительно то, что ясный отблеск его монументальных принципов отчетливо выступает в его станковой живописи и в рисунках. Это сказалось и в том, что картины и рисунки постоянно и легко объединяются у него в целостные и связанные циклы, посвященные одной теме, и в том, как строится в его станковой живописи колористическая гармония — обычно очень напряженная и светлая, — в также и строго упорядоченная и ритмическая композиция, словно рассчитанная на точку зрения издалека, как это бывает со стенными росписями.

Многие циклы картин Рефрежье были представлены им на выставке отдельными, единичными вещами, и тогда о характере всей серии в целом судить было трудно (так получилось, например, с его замечательным циклом картин, посвященным Мексике, — это вошло лишь в некоторой мере мексиканские рисунки). Но о двух важных сериях картин можно было составить более точное представление. Это наполненный необычайным волнением, ужасом и надеждой цикл картин в защиту мира, против войны, репродукции с которого были изданы в США в виде альбома, с подписями знаменитого певца Пита Сигера и с предисловием великого ученого-химика Лайнуса Полинга. Это не менее напряженный, но еще более контрастный цикл картин, направленный против расового неравенства и расистского мракобесия, столь обнажившегося и обострившегося сейчас в Америке. Над этой серией картин Рефрежье работает в настоящее время и намерен по окончании работы не только выставить всю серию в Америке, но и издать ее также в виде альбома, чтобы распространить ее как можно шире. Кстати сказать, доход от продажи этих альбомов Рефрежье идет в пользу организаций, борющихся за мир и против расизма и сегрегации. В некоторых картинах этой серии («Сегрегационисты», «Мы идем в школу», «Поджигатели церквей») Рефрежье встал на путь крайне резкой сатирической экспрессии, в такой степени ему обычно несвойственной. Зато в других работах серии он противопоставил этому уродливому миру чудовищных, нечеловеческих масок мир простой человеческой сердечности, мир чистых, лирических чувств, нашедший в его руках очень нежную и поэтическую форму.


Можно было бы думать, что такая откровенная общественная обостренность художественных образов Антона Рефрежье могла бы привести к сухой и оголенной дидактике, к надоедливой назидательности или схематизму, но этого не случилось, так как все большие (в том числе и самые острейшие) темы современности преломляются в его творчестве сквозь глубоко личное поэтическое видение мира, сквозь сердечную тревогу или радость. И это снимает всякий оттенок нарочитости или излишней литературности, чего вовсе нет и в монументальных росписях художника.

Мне лично кажется, что Антону Рефрежье в его станковых картинах лучше удаются образы лирические и человеческие, сердечные и нежные, особенно детские и женские. Конечно, есть своя большая сила и выразительность и в работах вроде показанной на выставке картины «Процессия приближается», где изображен оркестр кукулюкслановцев, которым дирижирует необычайно благообразный и представительный господин в безупречном черном пальто и цилиндре, оттеняющем белые балахоны и капюшоны погромщиков. Но сильнейшие качества Рефрежье все же отчетливее выступают в картинах такого типа, как «Дети у моря» (где девочка несет на спине младшую сестру), — сияющая многоцветная радуга светлых красок этой картины дает наиболее приближенное представление о цветовом строе фресок и больших панно Рефрежье, да и сама по себе необычайно привлекательна своей радостью жизни, своей увлеченной и ясной поэзией.

Таких картин на выставке можно насчитать целый ряд: «Друзья» и «Юные музыканты», к этой же категории относятся и «Девушка с подсолнечниками», и «Улица», и «Мир» (с женщиной, выпускающей белого голубя); таковы и некоторые вещи, виденные мною в Америке, как, например, прелестный «Мальчик с раковинкой». Рефрежье-лирик выступает в своей станковой живописи достойным соратником Рафаэля Сойлера или Эндриу Уайеса — самых мягких и человеческих художников в современном поколении американских мастеров-реалистов.

Но, я думаю, не стоит так расчленять и классифицировать достоинства искусства Антона Рефрежье. Ведь есть и такие его картины, где нежная лирика и драматическая экспрессия сливаются в один целостный строй, создающий особенную полноту и напряженность мысли и чувства. Именно такими качествами отличается картина «Наследник будущего» — быть может, лучшая из станковых картин, когда-либо написанных Рефрежье. Я рад, что именно эта картина, вместе с картинами «Друзья» и «Юные музыканты» и рисунком «Человек с птицей», была приобретена Государственной закупочной комиссией для Музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. Антон Рефрежье принес в дар музею большой эскиз фрагмента монументальной росписи в клинике Майо в Миннесоте — «Человек и его творчество» (скульптор, высекший статую Авраама Линкольна, с древней индейской скульптурой на первом плане). Эти работы займут почетное место вместе с картинами и графикой Рокуэлла Кента в американском разделе обширного нового зала современного искусства Запада, который готовится музеем и будет открыт в будущем году.

Искусство Антона Рефрежье находится в полной гармонии с душевным и нравственным обликом этого замечательного, умного и тонкого человека. Пожалуй, неожиданно только одно: не зная Рефрежье, трудно представить себе, что весь ораторский пафос его грандиозных монументальных росписей, безжалостная суровость его оценок и приговоров по отношению к реакционным силам истории и современности, непримиримая резкость его политической сатиры возникают в мыслях и чувствах и осуществляются руками человека бесконечно скромного, застенчивого и деликатного в обращении с людьми, полного доброты и сердечной мягкости. Впрочем, так и должно быть у настоящего, большого художника!

A black and white photograph showing a group of children, mostly of Jewish descent, looking through a barbed wire fence. Above them is a wooden sign with text in Finnish and Russian. The Finnish text reads: "Siirtoleiri. Pääsy leirille ja seurustelu aidan läpi ampumisen uhalla kielletty." The Russian text reads: "переселенческий лагерь. Вход в лагерь и разговор через проволоку воспрещен под угрозой расстрела." The children are dressed in coats and hats, suggesting a cold environment. The fence is made of several strands of barbed wire.

Siirtoleiri
Pääsy leirille ja seurustelu
aidan läpi ampumisen
uhalla kielletty
переселенческий лагерь
Вход в лагерь и разговор
через проволоку воспрещен
под угрозой расстрела

**ДЕТИ,
ПЕРЕЖИВШИЕ
ВОЙНУ**



Клавдия Александровна Ньюппиева-Соболева показывает своим ребятишкам, не знавшим войны, тот давний снимок.

Здесь земля была вытоптана, утрамбована сотнями ног. Здесь не то что цветну, самой неприхотливой травке не за что уцепиться, нигде пустить корни. И вдруг шестилетний узник концентрационного лагеря увидел за решеткой проволокой маленькое сверкающее чудо. И потянулся за цветком, забыв обо всем на свете. Сухонькое тело скользнуло под проволоку, и тут же на мальчика обрушился град ударов. Ребенка били резиновой плетью, пока он не перестал дышать...

Эта трагическая история произошла на глазах М. М. Марина, ныне жителя Петрозаводска, слесаря завода тяжелого бумагоделательного машиностроения. Что же заставило его вспомнить те страшные времена сейчас, спустя два с половиной десятилетия?

Дело в том, что в карельских областных газетах «Ленинская правда» и «Советская Карелия» недавно была опубликована фотография, сделанная репортером Галиной Санько двадцать два года назад — в день освобождения Петрозаводска.

Дети за решеткой проволокой. Печальные глаза. Измученные лица.

...Все, что находился в лагере № 6, были вывезены оккупантами из Заонежья. Людей, оказавшихся за решеткой проволокой, морили голодом, истязали, подвергали бесконечным унижениям. «Помню, — пишет Клавдия Соболева (ныне Ньюппиева), которой тогда было девять лет, — как люди падали в обморок в так называемой бане, а затем их обливали холодной водой. Помню «дезинфекцию» баранов, после которых шумело в ушах и у многих шла носом кровь. И парилку помню, где с большим «старанием» обрабатывали все наше тряпье. Помню, как солдаты стреляли в детей, которые пытались проникнуть за пределы лагеря в поисках пищи».

И вот миновали годы. Как же сложилась судьба мальчиков и девочек, запечатленных на снимке Галины Санько?

Одним из первых откликнулся Аркадий Николаевич Ярицын, работающий ныне токарем на Онежском тракторном заводе. (На снимке — мальчик в черной кепке, стоящий слева от столба.) Ярицын женат. У него двое детей. Живет семья в благоустроенной квартире. Увлечение Аркадия Николаевича — музыка: в часы досуга играет на баяне.

Узнала себя на старой фотографии и Клавдия Соболева, писем которой мы цитировали выше. Видите девочку с грустными глазами справа от столба? Это и есть Клавдия. Платье на ней из старой простыни, смини его, когда в парилке сгорели все ее вещи.

Клавдия Александровна — аспирант Института биологии Петрозаводского государственного университета — сейчас изучает морозостойкие сорта картофеля, которые так нужны на севере.

Две ее сестры тоже были в лагерях. Старшая — Антонина — стала мастером на деревообрабатывающем комбинате. А вот о младшей — Эльвире — до сих пор ничего не известно. Много лет безуспешно разыскивают ее сестры. Вот и сейчас попросили меня: «Напишите, пожалуйста, что Эля была с нами в радостный день освобождения, а потом мы попали в разные детские дома. Элю определили в Сосновский дом малютки. Но то ли фамилию ее записали неправильно, то ли еще что, только нигде в списках мы ее не обнаружили. У нее была особая примета: небольшое родимое пятно на лбу, овальное, розовое».

Разыскивают не только Элю Соболеву, но и того мальчика, который на снимке рядом с Аркадием Ярицыным. «Дорогая редакция, — пишет из поселка Пийтснэки, Суоярвского района, Карельской АССР, Анна Кузнецова, — прошу вас узнать что-нибудь про мальчика, который стоит слева от столба вторым. Он очень похож на моего сына Володю Ванина. Его у меня отобрали фашисты».

Эксперт В. Д. Петухов, сливая присланную А. Кузнецовой фотографию с той, которую мы публикуем, сказал: предположительно можно считать, что на снимке Г. Санько действительно Володя Ванин. Но где он сегодня?

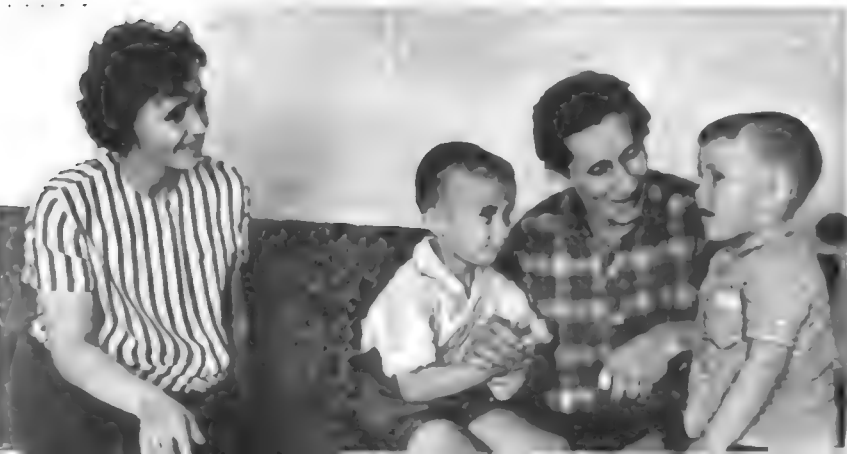
А девушка в черном берете, стоящая сзади, справа от столба? Сначала было известно лишь то, что зовут ее Надей и что после освобождения Петрозаводска она уехала с эвакогоспиталем на Дальний Восток. И совсем недавно в нашей редакции узнали: фамилия этой девочки — Ростовцева, родом она из поселка Шуньга, Медвежьегорского района Карелии. Где сейчас Надя Ростовцева, как сложилась ее судьба после войны?

Мы надеемся, что люди, которые знают о судьбе детей-узников, запечатленных на фотографии Галины Санько, напишут в редакцию.

Ис. БАЦЕР,
ответственный секретарь
газеты «Ленинская правда».

Петрозаводск.

Аркадий Николаевич Ярицын и его семья.



Подвиг, называемый работой

Вячеслав КОСТЫРЯ

В представлении неосведомленного человека современная шахта — это почти метро. Лампы дневного света, широкие тоннели — квершлаги и чуть поуже — штреки.

У шахтеров — профилактории с лесным воздухом и кварцевыми лампами. Ну, а уголь добывают все же и не шахтеры, а машины: нажал кнопку — и пошел уголек на-гора сам по себе...

Горняки, ежели при них скажут такое, ухмыляются.

Крут, широк, своеволен... Это не о человеке. Это говорят о пласте угля, что залег почти на километровой глубине. Имя этому пласту — «Девятка». Вначале, когда разрабатывались верхние горизонты горловской шахты «Комсомолец», с пластом было легче. Но потом уголь из «Девятки» стал даваться трудней и трудней: был слишком глубоко. Чудовищной силой давит на крепления толща земли, подстерегает шахтера рудничный газ. Да и работать тяжело: в забоях жарится, как в тропиках...

— Одно слово, «Девятка», — так сказал мне начальник семьдесят шестого участка Александр Михайлович Сазонов. — Сотня забойщиков, проходчиков, крепильщиков, лесогонов над ним бьется... А пласт вытянулся во всю свою сто-двадцатиметровую высоту, бросается из стороны в сторону... То растолкает другие породы в стороны метра на четыре, то повиснет.

— Да хоть бы окружающие породы были покрепче! — сокрушался главный маркшейдер Рыжков. — А то чуть пласт отойдет вглубь, вокруг все начинает сыпаться. А куда? На головы забойщиков!.. Тут не зевай! А план есть план.

— И выполняете?

— Как всякий план... Если случается неувязка, у начальника шахты на отчете попотеешь!..

— Стучит кулаком по столу?

— Анатолию Ивановичу это противопоказано, столов не напа-сешься.

— Значит, на слово мастак?

— Умеет... Выйдет из-за стола, станет у окошка и начинает разбор «боевых действий»...

Инженер Проскурин рассказал:

— Пустили, понимаете, на «Девятке» комбайн «УКР-1». И хорошо еще, что не на всю длину лавы пустили, снизу оставили три двадцатиметровых уступа. Вначале все было нормально, уголь рекой шел, перевыполнение плана и все такое. И вдруг при соблюдении всех мер предосторожности: трах-бах-бабах!.. Как на войне артоналет! Кровля рухнула. Еле вытащили комбайн.

— А люди?

— Люди спрятались в кутках молотковых уступов, для этого уступы и оставляли. Ведь комбайновая лава ровная во всю длину, как горка для санок, нигде не укроешься.

— Никого не прихватило во время обвала?

— Никого... Да если б и прихватило, пересидели бы дня три-четыре.

Это говорилось по-шахтерски спокойно.

— А чем питаются эти три-четыре дня?

— У каждого фляга с водой и «тормозок» — легкий шахтерский завтрак (буханка хлеба да добрый кусок сала). А на десерт, значит, кора от сосновых стоек да вода из шланга. Настоящего шахтера не так-то просто взять на измор!

Начальник отдела кадров Шеремет не выдерживает. Шеремет влюблен в людей, работающих на «Девятке»:

— Короли Донбасса! А что? Стрельцов! Недаром его зовут «Михаил Первый». С двадцать первого работает в шахте, пенсионер. А как прослышал, что «Девятка» забоговала, пришел на помощь к Сазонову. Ручищи-то у Стрельцова — что тиски... А «Михаил Второй» — Покора! Он с военной службы к нам на шахту пришел, угольный пласт его тельняшки бонется. А Карпов! А Ло-зицкий! А Петро Лысенко! А... Эти ж горы свернут, не то что пласт!

— Там моих шесть коммунистов, — ревниво заметил секретарь

шахтной парторганизации Владимир Ефимович Левченко. — Недавно приняли в партию и самого начальника участка. Единогласно!

С кем бы ни происходил разговор, все в один голос хвалили добытчиков участка, но с таким же единодушием ругали угольный пласт. Не удивительно, что и помощники главного инженера (по планированию — Албьев, по нормированию и зарплате — Ягодкина) не преминули пожаловаться на взбалмошный характер «Девятки». Но тут же, словно бы спохватившись, заговорили о пласте любовно. Что такое!

— Щедрый, могучий, богатый! Только сумей подойти, взять уголек!

— Это же целая четверть всей суточной шахтной добычи!

...Было это года три назад. Никому из опытных горняков идти на «Девятку» в начальники не хотелось. Они, старые подземные воляки, знают, что по своей воле переть на рожон — судьбу испытывать. А она у шахтеров с норовом, легких на слово не любит. Другое дело — приказ. Да и то положено поупрямиться.

Молодым, да ранним, готовым пойти на риск очертя голову, просто-напросто отказывали.

Шахта прихрамывала. Геологический надвиг, след какой-то доисторической подземной катастрофы, ломал все расчеты плановиков и нормировщиков. Утвержденные цифры требуют своего. А лавы свое гнут. Стихий закон не писан. Одна надежда на искусство и предусмотрительность горного надзора, на умение шахтеров вырвать добычу.

Прихрамывал и начальник шахты Трофимов: подвернул ногу в колдобине. Над ним подшучивали. Да и самому начальнику шутовское сопоставление казалось символическим. Третий день уже не был на шахте. Бюллетень. Прямо беда!..

Позвонил в партбюро.

— Владимир Ефимович? Ну как?.. С Сазоновым говорил?

— Лучше не найти, но...

— Что «но»?

— Упирается. По партийной линии прижать не могу, он же беспартийный...

Позвонил Михееву в шахтком:

— Сергей Владимирович! С Сазоновым говорил?

— Лучше не найти, но...

— Что «но»?

— С места не сдвинешь. На участке у него порядок, план перевыполняет, ни с какой стороны не подойдешь...

— Ну, ладно, сам разберусь!

В тот же день Трофимов пригласил Сазонова к себе домой. Начальник шахты, непривычно хмурясь, сидел на диване, вытянув укутанную в пуховый платок ногу. Дочь Трофимова играла на рояле, и отец молча слушал «Сентиментальный вальс» Чайковского.

Разговор с Сазоновым начался по-шахтерски, без дипломатической раскочки.

— Б-бонься «Девятки», Александр Михайлович! — слегка заикаясь, спросил Трофимов.

— Не то слово, Анатолий Иванович.

— Ирочка, выйди-ка, п-погуляй. Нам с дядей п-поговорить надо.

— Эх вы, ш-шахтер-ры... — зло проговорил Трофимов, когда Ирочка вышла.

— Пошлите на «Девятку» Михеева. Лучше его не найти. Я у него когда-то в помощниках хо-

дил... Наверняка сработает... Он же первым на крутом пласте комбайн внедрил!

— Ага! Завидуешь?

— Ну, и слова ж вы подбираете, Анатолий Иванович... Бонься... Завидуешь... Так же, как Михеев завидовал мне, когда я на «Мазурке» пожар тушил... У нас завидуют только тем, кому вереники сами в рот прыгают.

— Обиделся?

— Я как таксист... Что ни скажи — мне обижаться не положено.

— В-востер... Такому и «Девятка» по зубам! Уг-грызешь!

— Один не угрызу...

— Ага! Уже т-торгуешься! Ха-ха-ха! Значит, дело будет!

— С вами сейчас не поторгуйся, потом черта лысого выпросишь...

— Ладно. С-собирай своих мастеров г-горных искусства, дадим всего эдакого: металл, лес, воздух, порошия! Сказку, а не шахту тебе с-сделаем.

— Больно мягко стелете, Анатолий Иванович...

— Н-на слова ловишь?

— Поймал.

— А ведь п-поймал! Ха-ха-ха! Исподволь брал Сазонов «Девятку». Через месяц суточная добыча была всего 250 тонн. А потом пошло: март — 320, апрель — 500, май — 550... Что ни месяц, то интересней! В июле уже давали по 750 тонн в сутки, было и по 1 000!..

Один из пунктов повестки дня состоявшегося вскоре заседания шахтного комитета оказался особенно содержательным. Он гласил: «О присвоении участку номер 76 (пласт «Девятка») звания «Коллектив коммунистического труда».

Председательствующий лауреат Ленинской премии Сергей Владимирович Михеев едва успел поставить вопрос на голосование, как вскинулась целая роща заглубленных, в синих отблесках, жестких рабочих рук.

— А «Девятка»-то скоро каюк! — нарушил кто-то торжественность момента. — Два километра оттаивали, осталось метров семьсот.

Куда ж тогда деваться Сазонову? Тут же последовало предложение!

— Дать ему хороший участок!

— Правильно!

— Заслужил!

— Дать!

— Ну вот, зашумели-загудели провода... — поднялся Сазонов. — Хороший участок... Может, еще в сторожа на угольный склад определите?

— А если на «Мазурку»?

— Это еще подумать надо. Пласт музыкальный, ничего не скажешь... То стрелнет, то пламенем вспыхнет... Рано о нем пока... «Девятку» добывать надо.

Никто не сомневался, что Сазонов отдаст дань шахтерскому обычаю немного поупрямиться перед трудным заданием.

О «Мазурке»-то заговорили неспроста. Знали, что Сазонов уже сейчас частенько бывает у проходчиков, присматривается, вмешивается, если заметит непорядок. Там, на «Мазурке», ждет и его и хлопцев с семьдесят шестого Коммунистического участка подвиг, который шахтеры, как и на «Девятке», наверняка будут называть просто работой.

Горловка, шахта «Комсомолец».



Лейтенант Нгуен Ван Чи и инструктор

СЛУЖУ ВЪ

На занятиях по штурманской подготовке.





офицер В. М. Привалов перед вылетом.

Здание штаба и учебные корпуса стоят в паре. С аэродрома, приглушенный расстоянием, доносится гул реактивных двигателей. Небо перечеркнуто белыми клубящимися линиями — это следы, оставленные самолетами. Здесь, в одном из лучших в нашей стране военных авиационных училищ, занимаются летчики и авиационные специалисты, приехавшие в Советский Союз из Вьетнама.

Я живу вместе с летчиками из эскадрильи капитана Нгуен Ай Донга.

Мои соседи по комнате, кроме капитана, — лейтенант Хоанг Кан и младший лейтенант Нго Ши Нги. Хожу вместе с ними на занятия, в столовую, на аэродром.

Капитан Нгуен Ай Донг пользуется в эскадрилье непререкаемым авторитетом, и не только потому, что он командир. Капитан — отличный летчик, летает на многих типах самолетов.

— Я в армии уже двадцать лет, — рассказывает он. — Был пехотинцем в войсках Сопротивления — сражался с французскими колонизаторами. Потом стал летчиком и вот опять воюю, хотя войну не люблю. Но пока на нашей земле есть иностранные захватчики, оружия не сложу.

Нгуен Ай Донг строен, сухощав, быстр в движениях. Улыбка у него мальчишеская, белозубая. Но где-то в глубине глаз непроходящая настороженность, готовность к мгновенному действию. О своей жизни говорит с затаенной грустью:

— Женился поздно. Уже сорос лет, а дети еще маленькие. Двое, дочь и сын. Почти их не видел. Теперь эвакуированы в безопасный район. Дом разбомбили американцы. Благодаря помощи Советского Союза авиация агрессора несет все большие потери. Мы вашу помощь постоянно ощущаем. Во Вьетнаме летаем на русских самолетах. И здесь вот нас обучают летать на сверхзвуковых ракетносцах.

Младший лейтенант Нго Ши Нги почти вдвое моложе своего командира. Он спокоен, нетороплив, когда говорит с кем-то, все время смотрит в глаза собеседнику.

— С нетерпением жду конца учебы и возвращения на родину, — сказал он и тут же пояснил: — Во-первых, чтобы скорее бить врага, и, во-вторых, надеюсь перед боями заскочить домой, посмотреть на сына, которого еще не видел. Родился он, когда я был на фронте. Сейчас ему уже девять месяцев.

Спрашиваю, участвовал ли младший лейтенант в воздушных боях. Нет, пока не участвовал. А лейтенант Хоан Кан уже имеет боевой опыт.

Почти все летчики эскадрильи Нгуен Ай Донга научились летать в здешнем училище, воевали и вот вернулись сюда, чтобы овладеть новой, более совершенной техникой. Они издают свой рукописный журнал «Дружба». Материалы в нем написаны по-русски и по-вьетнамски. В журнале я прочитал: «Наша дружба вечна и нерушима. Вьетнамцы всегда будут благодарны советским людям за бескорыстную помощь в тяжкие для них дни».

— Заметьте, — сказал мне командир эскадрильи, — речь идет не только о помощи, но и о дружбе. Ее здесь мы ощущаем полной мерой даже в мелочах. Например, в столовой повар изучает рецепты вьетнамских блюд, которые готовятся специально для нас.

...Земля вздрагивает от мощного грохота, и сверхзвуковой ракетносец уходит в небо... Это учебная двухместная машина. В передней кабине — лейтенант Нгуен Ван Чи, а в задней — летчик-инструктор офицер Владимир Михайлович Привалов. Учебным полетам предшествовала тщательная тренировка на земле. Много раз Нгуен Ван Чи и его товарищи в классе «поднимались в небо», «перехватывали цель» и «возвращались на свой аэродром». Делали они это на специальном тренажере с пультом управления и счетно-решающими устройствами. С помощью сложной техники и имитации звуков у летчика на этом тренажере создавалось полное впечатление настоящего полета. Учились вьетнамские офицеры применять в воздушном бою управляемые ракеты и другое современное оружие.

Дожидался возвращения из полета учебной машины, разговариваю с офицером Николаем Васильевичем Задирихиным. Он тоже летчик-инструктор.

— Получил весточку из Вьетнама, — показывает мне письмо Николай Васильевич, — пишет мой бывший курсант лейтенант

ВЬЕТНАМСКОМУ НАРОДУ!

Из Вьетнама прибыли новые курсанты.



Нгуен Ван Мин. Сообщает, что участвует в боях, а его товарищи лейтенанты Нгы и Биеу, тоже наши воспитанники, уже сбили по одному американскому самолету. Хорошие они ребята, упорные, трудолюбивые.

— А когда ваши питомцы в воздухе, наверное, волнуетесь? — Еще как! Ведь все обстоятельства предвидеть невозможно. Было, например, так. Полетели курсанты в зону отработки техники пилотирования. Вдруг погода испортилась, и буквально в считанные минуты наш аэродром закрыла низкая облачность. А в воздухе были младшие лейтенанты Нгы и Хиеу. Для них посадка в таких условиях была весьма серьезным испытанием. Особенно я волновался за Хиеу. Он и еще два офицера прибыли к нам со значительным опозданием. А занимались по общей программе. Правда, занимались усердно и как будто успешно, но все-таки... И представьте себе, оба летчика сели отлично. Они точно вышли на приводную радиостанцию и безупречно выполнили маневр.

Серебристая машина мягко коснулась бетонной полосы. Из кабины вылезли летчики, похожие в высотных костюмах на космонавтов, сняли гермошлемы.

— Сегодня летали хорошо, — похвалил слушателя Привалов.

— Служу вьетнамскому народу! — ответил Нгуен Ван Чи и тихо добавил: — Спасибо вам, товарищ инструктор.

НА УЛИЦЕ ГЕГА

Ю. КОРНИЛОВ, А. КРАСИКОВ

В Триесте, древнем и шумном портовом городе, чьи дворцы и башни заглядывались в голубые воды Адриатики, стоит на улице Гега старинный, потемневший от времени трехэтажный дом. Здесь размещается Триестская консерватория. Рядом банки, магазины, различные конторы и фирмы, потоки машин и спешащие пешеходы. Но нередко бывает так, что человек, проходя мимо старинного трехэтажного дома, остановится, снимет шапку и несколько минут стоит молча, глядя на золотисто-бронзовый, прикрепленный к стене венок...

— Этот венок связан с подвигом советских людей, — сказал нам маэстро Бруно Червенка, вице-директор консерватории, известный в Италии композитор. — Пройдите, я покажу вам, где это произошло...

Чернорубашечники, захватив власть, устроили здесь ночной бар под вывеской офицерского клуба. Потом их сменили боши: ведь когда режим Муссолини рухнул, Гитлер прислал в Триест своих головорезов. Здесь был офицерский ресторан с надписью «Итальянцам вход запрещен».

Холодным февральским вечером сюда входят в числе других два офицера. В руках одного из них брезентовая сумка. Эти офицеры ведут себя несколько необычно: они, например, неожиданно останавливаются на лестнице, чтобы поговорить о чем-то. Если бы хваленые «глаза и уши рейха» — гестаповцы наблюдали за ними тогда, они увидели бы, как один офицер, заслоненный

другим, нажал зубами на извлеченную из сумки ампулу, они услышали бы, как хрустнуло под медной оболочкой стекло. И вот уже химический состав разъедает тонкую проволочку, удерживающую пружину бойка, мина начала свою короткую жизнь. Офицеры же, как ни в чем не бывало, проходят в ресторан, требуют кофе, пьют вино, смеются. А потом они исчезают, забыв сумку под столом. Грохот взрыва оповещает жителей Триеста о том, что патриоты действуют...

Взрыв в ресторане поставил на ноги все гестапо, всю гитлеровскую разведку. Фашисты схватили несколько десятков жителей города, объявив их заложниками. Облавы следовали за облавами, кажется, не осталось дома, где бы не появлялись эсэсовцы в сопровождении представителей префектуры и шпиков из местных фашистов. Понски ни к чему не привели, но операция «Прополка» должна была, по мнению врага, начисто исключить возможность диверсии. И вот тогда, всего месяц спустя после взрыва в ресторане, те двое в немецких мундирах вновь появились в городе — на этот раз в Обчине, на окраине Триеста, возле кинотеатра, где демонстрировались фильмы специально для немецких офицеров и солдат. Они вошли в зал, когда сеанс уже начался, и, не найдя свободных мест, довольно долго стояли за последним рядом, внимательно смотря на экран. Видимо, фильм показался им не таким уж интересным, и они покинули зал. Никто из зрителей не обратил на это внимания, никто не услышал, как заработал часовой механизм,

установленный в mine замедленного действия. 150 гитлеровцев были убиты, а двое в немецких мундирах исчезли, будто растворились в ночи. Двое героев, чьи имена сейчас живут в нашей памяти и в наших сердцах, — товарищ Михайло и товарищ Иван...

Мы побывали на окраине Триеста, в поселке моряков и судостроителей, что раскинулся высоко над морем, на склонах крутой, каменной, обожженной солнцем горы. Здесь в небольшом домике живет Слава Чебулетс, жена старого триестского моряка. Немногие знают, что ее в годы войны звали Катра — имя почти легендарное на триестских берегах. Это она, работница-ткачиха, стала в те годы бесстрашной разведчицей, за которой долго и тщетно охотилось гестапо. Это она совершала трудные переходы по горам и долинам, пересекала минные поля, пробиралась через занятые гитлеровцами городки и села, чтобы поддерживать регулярную связь между югославскими партизанскими соединениями и триестским подпольем. Это она помогла Михайле и Ивану.

— Настоящее имя товарища Михайлы — Мехти Гусейн-заде, — рассказывает Катра. — Он советский лейтенант, попавший в фашистский плен на берегах Дона и зимой 1943 года после долгих мытарств оказавшийся на юге Австрии, возле итало-югославской границы. В ту пору он бежал к партизанам приморской Словении. Новых людей в югославских партизанских бригадах проверяли тщательно, всесторонне. Мехти заявил, что он знаком с профессией минера, до войны он учился в Ленинградском институте иностранных языков и говорит по-немецки и по-французски. После этого ему дали задание — взорвать фашистский аэродром возле Гориции. Он передел-

Василий НОЗДРЕВ



Память
сердца

Поет ли иволгою звонко
Цветущая аллея лип,
Услышу ль,
Проходя сторонкой,
Калитки чуть приметный скрип, —
Дела, и думы,
И разлуки
Давно ушедших в вечность дней
Живые ль, неживые ль звуки
Рождают в памяти моей.

Установился между нами
Земле и мне понятный код,
Где связь с минувшими годами
Через цветы и звук идет.

Я помню дату роковую:
В бревенчатый отцовский дом
Учительницу молодую
Направил местный исполком.

Передо мной она предстала,
Но не сошедшая с холста,
А ландышем благоухала
Ее земная красота.
Глаза черничного настоя
И брови, как в стихах, вразлет
На обещали мне покоя,
Но звали словно бы в полет.

Прошли года.
Как луг россою,
Виски покрыла седины.

Но лишь на миг глаза закрою —
И снова видится она.

Мне б только добежать до рощи,
Нырнуть в зеленый океан:
Ведь там все чище, там все
проще,
Там тысячи лекарств от ран.

Тропа все дальше увлечает
И вдруг теряется в глуши,
И постепенно нарастает
Спокойствие моей души.

И кажется мне малым, ложным
То, что убить могло порой:
Малькает карликом ничтожным
Вчера давнее горой.
...Когда на сердце боль и тучи
И на душе темно, хоть плачь,
Бегу, тревожный, в лес дремучий:
Ведь он незаменимый врач.

ВЕСЕННЕЕ

Когда в лесу в разгаре тока
Поет черныш, взлетев на пеню;
Когда зарею краснобокой,
Проснувшись, улыбнется день;
Когда кукушка, как цыганка,
Затараторит по слогам;
Когда звенит лесной тальянкой
Ручей, бегущий по лугам;
Когда стоит светло и чисто
Березок стройных белизна;
Когда из-под зеленых листьев
Глазами птиц глядит весна, —
Сбегают с плеч моих усталость,
Спеша в заламах умереть...

Мгновение — какая малость!
А я готов, как птица, петь.

НА РАССВЕТЕ ПОСЛЕ БУРИ

Полыхают дальние зарницы.
Спят деревья мирные кругом.
И в бору,
Где ягоды да птицы,
В тихих травах растворился гром.

Ветками загородив дорогу,
Дуб лежит — его и не обнять.
Растянулся богатырь у лога,
Так уснул, что никогда не встать.

Вот и солнце из-за гор шагнуло,
Желтой грудью навалило на бор.
Утро молодое натянуло
Над землею солнечный шатер.

И в лесу,
Проснувшись рано-рано,
Солнце встало в огненной тиши,
У ромашек на крутых курганах
Слезы по утратам просушив.

Иду вдоль родниковой Локши...
По берегам стоят стога.
Ручей лесной, ручей засохший
Морщиной пересек луга.

Все, что цвело и опылялось,
Вчера косой оголено.
Все, что росло и к солнцу
равлось,
Засушено и сметено.

Иду тихонько лугом чистым.
Взлетают краквы ввысь свечой.

ся в немецкую форму и проник на аэродром — это была, кажется, первая из его отчаянно смелых вылазок в логово врага. Взяв в Гориции явился лучшим, самым верным ключом к сердцам партизан — люди леса приняли Мехти в свою семью, и с тех пор он был всеобщим любимцем в бригаде. Если вы побываете в Югославии, то можете увидеть в словенском селе Чапавене, где Мехти погиб в рукопашном бою, памятник, поставленный ему бойцами. «Спи, наш любимый Мехти, твой живой подвиг во имя свободы навсегда останется в сердцах твоих друзей», — выбито на камне, а возле всегда живые цветы.

Все мы, партизаны, от души порадовались, когда в 1957 году узнали, что нашему боевому другу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Но он герой не только Советской страны. Его по праву называют героем и в Словении и у нас, в Триесте, — золотой венок на улице Гега напоминает всем о подвигах, которые он совершил.

Она помолчала.

— О боевых делах товарища Михайлы и его друга Ивана Русского можно рассказывать очень много. Это они взорвали в Триесте редакцию фашистской газеты «Иль Пикколо», тяжело ранили фашистского карателя Пауля Кертнера, совершили налет на тюрьму в городе Удине и освободили несколько десятков советских военнопленных... Но Мехти был человеком не только беспримерной отваги и высокого мужества. Нас восхищала и покоряла его беспредельная любовь к советской Отчизне, к своей родине — Азербайджану. Мехти был человеком разносторонним и по-настоящему талантливым. В редкие часы затишья его, боевого начальника партизанской разведки, можно было видеть у самодельного мольберта: он хорошо рисовал, и особенно часто рисовал горы — они напоминали ему родные края. И стихи он писал чудесные. Помню, как ночью у костра, над которым свешивались темные лапы елей, он читал нам своим чуть глуховатым голосом лирические, проникновенные строчки:

Лицо луны плывущей
серебрится,
И облик твой в том отсвете
прекрасен.
Но, Адрия, в тебя мне не
влюбиться.
О, нет! Влюблен я беспредельно
в Каспий...

В 1958 году на советских экранах шел фильм «На дальних берегах». В этом фильме рассказывалось о советских людях, сражавшихся в годы войны на берегах Адриатики, в частности об отважном партизане-разведчике по имени Василий, совершившем немало славных подвигов во имя Родины и победы. Долгое время считалось, что отважного партизана нет в живых. Лишь недавно удалось установить, что Василий жив. Это житель Баку Мирдадат Сеидов, он же Иван Русский, боевой друг и помощник легендарного товарища Михайлы. Недалеко до поездки в Триест мы получили письмо от него:

«Если вы, товарищи журналисты, побываете на берегах Адриатики, в Триесте, пройдете по тем местам, где мы когда-то сражались с фашизмом, — передайте самый горячий привет славной разведчице Катре, всем боевым друзьям, которые помнят о нас, поклонитесь от нашего имени могилам павших партизан...»

...Все это припомнилось нам во время посещения старого дома на улице Гега. Мазстро Червенка, старомодный, в черном сюртуке, с черным бантом, вышел с нами на улицу, долго смотрел на золотисто-бронзовый венок на стене.

— У нас в Италии хорошо знают имя Федора Полетаева, русского героя, который сражался в Италии и пожертвовал жизнью во имя победы над фашизмом. Имена Михайлы и Ивана известны, к сожалению, меньше, а ведь это люди той же закалки... Вы говорите, Иван жив? Я не знаю, где находится этот город Баку, но я хотел бы побывать там, чтобы пожать ему руку!

Триест.
Италия.

ЗДЕСЬ ПОХОРОНЕНЫ
РУССКИЕ БОРЦЫ ПАВШИЕ
СМЕРТЬЮ ГЕРОЕВ ПРИ
ОСВОБОЖДЕНИИ ТРИЕСТА
ОТ ФАШИСТОВ
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ПАВШИМ
ЗА СВОБОДУ

Морщинится мой луг душистый
Осенней мудрой хитрецей.

• • •

В лесах пособрана черника,
И земляника отошла.
Но ты сказала мне:
— Смотри-ка,
Какие ягоды нашла!

Грибами пахло и брусничкой,
Тануло сыростью с болот.
Ты наполняла земляничкой
Смеющийся упрямый рот.

И всё...
А сердце не забудет
Губ зрелых ягодный настой
И в поздний час,
Когда остудит
Знамя их земляничный зной.

• • •

Когда на лес в ресницах снега,
Пробие громаду серых туч,
Вдруг брызнет яростно, с разбега,
Голубоватый солнца луч,

Все заискрится, засверкает
И в брызгах света оживает:
В лучах тепла на ветках тает
И снег, и изморозь, и лед.

Хочу, чтобы со мной так стало:
Прорезав тучи бытия,
Согнало б с седины усталость
Тепло — поэзия моя.

В ЛЕЯПЦИГЕ

Здесь память сердца сберегла
Казakov подвиги лихие.
Под памятник
Земля легла
С далекой Родины — России.

Я слышу предков голоса
И вижу,
Как, минуя броды,
Через болота,
Сквозь леса
С родной землей ндут подводы.

Как надо Родину любить,
Чтить воинов,
Что в битвах пали,
Чтоб землю на волах тащить
В бескрайние чужие дали!

• • •

Зело ученый муж изрек:
Без плана нет вперед движенья.
Ему, наверно, неведомек,
Что к праву есть исключенье:
Любовь и горе выше нас
И неподведомственным плану.
Так было в прошлом,

и сейчас,
И в дни,
когда я в вечность кану.

• • •

Сравню ль криничное оконце,
Грозу,
Что прячет в тучах солнце,
И тот спокойный водоем

С ракетой,
Что рождает гром!

Куда там!
И в краю росистом
Предпочитаем мы с тобой
Лесной ручей прозрачно-чистый
Трубе
С напористой водой.

И в нашей жизни бесконечно
Для всех — и взрослых и детей —
Милее сердцу будет вечно
Весенний гром,
Лесной ручей.

ЗЕНИТ

Жизнь увлекающим потоком
Забросила меня в зенит...

Отсюда
Видно, как далеко
Дорога в прошлое бежит.

Отсюда видно превосходно
Тот путь, что трудно проторял:
Здесь делал я маневр обходный,
Здесь прямо шел, а здесь петлял.

И радуют меня высоты,
С которыми не унывал.
Печалит пади и болота,
Где я тонул и буксоевал.

И все-таки никто на свете
Не в силах прошлых лет вернуть.

Но в наших силах,
Чтобы дети
Прямой избрали в жизни путь.

ПОТОМКУ

Историку других столетий
Нас будет нелегко понять,
Как мы, времен суровых дети,
Умели в жизни так держать.
В песках пустынь,
Во льдах Чукотки
Выращивали мы сады
И умирали от чехотки,
Оставив правнукам плоды.
Бывало, мы недоедали,
Но не сдавались никогда.
От нас к планетам стартовали
Ракет калужских поезда.

СТАРЫЙ ОХОТНИК

Он угощал гостей чайком
И балагурил без умолку,
А сам курил, вздыхал тайком
И гладил старую двустволку.

Вокруг на стенах чучела,
У ног собака — друг скитаний,
Так стали прошлого дала
Теплом его воспоминаний.

Мы уходили в лес гуськом,
Нагруженные рюкзаками,
И возвращались снова в дом,
Обещанные беляками.

Он приглашал нас на крыльцо,
Как будто с фронта встратил сына,
И прятал мокрое лицо
В пропахший лесом мех звериный.

КАКАЯ ТЫ, ИЖМА?

Г. КОПОСОВ, О. КУПРИН

Лазарь Михайлович Артеев сидит на скамейке подле своего дома. Скамейку поставили специально для него у самого речного обрыва. Видна отсюда и почти вся его родная Ижма, и села за рекой, и памятник на взгорье, в окружении высоких сосен, которые сажал Артеев, когда был еще молодым. Сейчас Лазарю Михайловичу 85 лет.

— Мужиков старше меня в Ижме нет,— говорит он,— женщины есть постарше.

Разговор мы ведем об истории Печорского края, потому что многое в Ижме напоминает о ней, особенно когда ходишь по селу с Иваном Федоровичем Ануфриевым, главным ижемским историком, создателем и хранителем сельского краеведческого музея. Он и привел нас к Артееву.

— Дому этому,— Артеев показывает никелированной ручкой палки на свой дом,— нынче исполнилось сто пятьдесят три года. Старое наше село.

Село действительно старое. В будущем году оно отметит два праздника. Один, самый большой, общий наш праздник — полвека Советской власти. Второй — свой, местный: Ижме исполнится 400 лет. Первое упоминание о ней в летописи относится к 1567 году.

И вот что интересно: первые Советы в Печорском крае возникли здесь, в Ижемском районе. Произошло это зимой 1918 года. Вернее, началось в восемнадца-

Лазарь Михайлович Артеев,
красный партизан.



Тихий рассвет на сельской улице, где в девятнадцатом гремели бои.



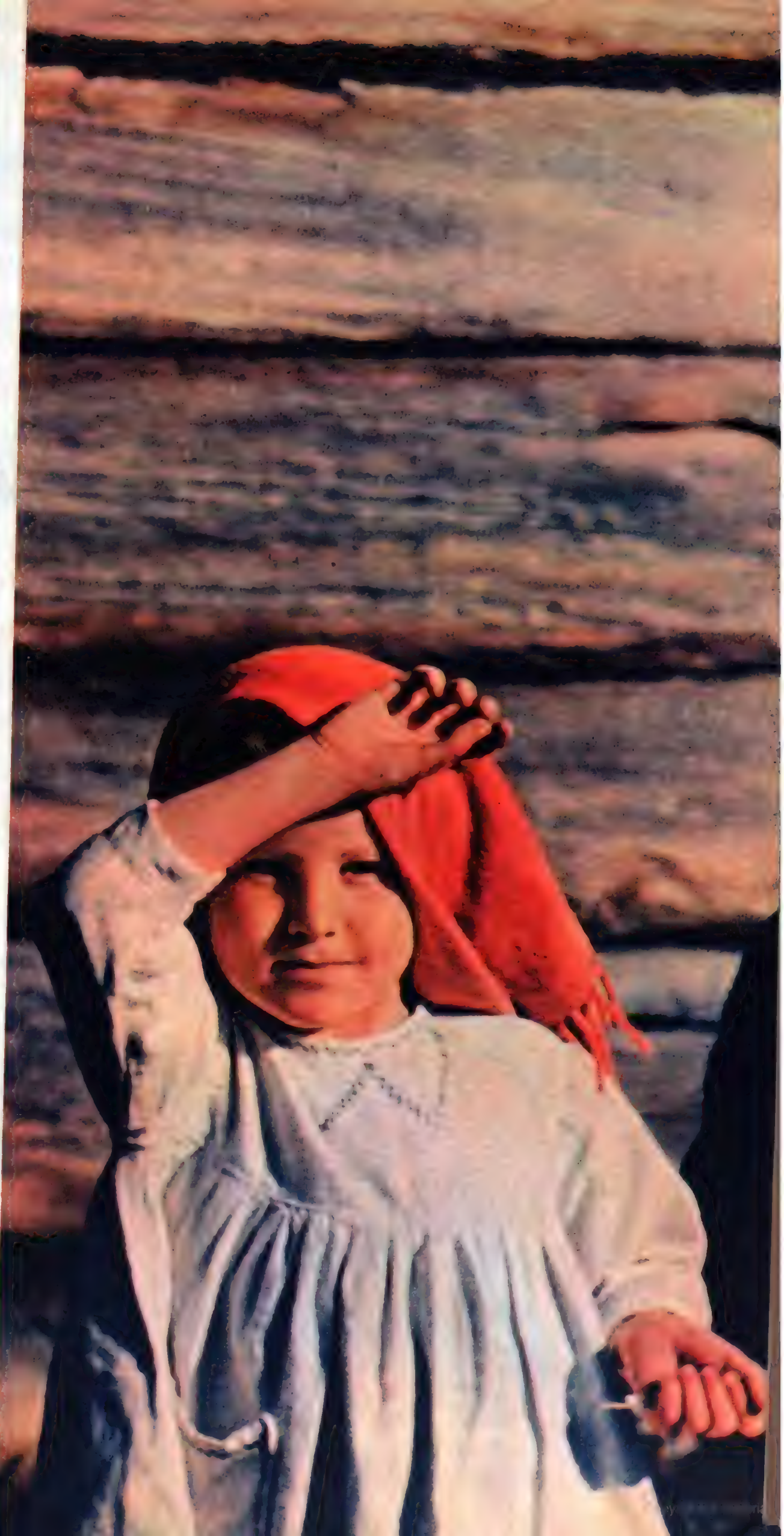
ЗДЕСЬ
ПОМЕЩАЛСЯ
Ш.Т.А.В.
КРАСНЫХ
ПАРТИЗАН
В ПЕРИОД
1918-1919г.г.

Таня Семяшкина, почтальон:
— Ни одного двора на обхожу
стороной, в каждом доме у
нас подписчик.

Центральная улица.

Кино повезли.







Ижемский хор. К соседям на гастроли.



Модная забава.

том. Первый председатель Совета, большевик Н. И. Зыков, занимал этот пост всего несколько месяцев. Кулацкая банда расправилась с ним 27 мая. Он первый отдал жизнь за Советскую власть в глухом Печорском крае. На смену ему пришли другие, и летопись революции сохранила их фамилии: Артеевы, Каневы, Семьяшкины, Чупровы...

Самый крупный бой грянул в Ижме 30 декабря 1918 года. Белые на оленях и лошадях незаметно подошли к селу. Белых было в три раза больше, чем красных. Они без выстрела сняли часовых и глубокой ночью окружили дом, где разместился штаб партизан. Два с половиной часа длился бой. Партизаны отстреливались из окон штаба, из хлевов, с сеновалов. Утром белые отступили. Артеевы, Каневы, Семьяшкины, Чупровы в ту предновогоднюю ночь отстояли Советскую власть в своем селе. Но многие погибли — и раньше, и в ту ночь, и после той ночи. Белые не расстреливали партизан, когда те попадали к ним в лапы. В Ижме был свой способ расправы: разделяли догала и опускали в прорубь.

Мимо скамейки, где мы сидим с Лазарем Михайловичем Артеевым, то и дело проносится мотоцикл с двумя седоками.

— Внук правнука катает, — объясняет Артеев. — Правнуков у меня двадцать. Могло быть больше. Три сына погибли на войне с фашистами. Сейчас-то хорошо живем. — Артеев опирается седым подбородком на никелированную ручку палки и смотрит туда, где врезается в небо темная пирамида памятника, поставленная на речном откосе в честь друзей его молодости.

Мы ушли. Он остался один на своей скамейке, задумчивый, красивый старик. Вслушивался, всматривался в древнюю и совсем новую свою Ижму. Быть может, что-то вспоминал.

Мы идем через село в краеведческий музей. Главный историк Ижмы Иван Федорович Ануфриев — отличный экскурсовод, знает послужной список каждого дома.

— Вот в этом двухэтажном купце богатый жил. Имел в Париже магазины. Семьей торговал и замшей. Что с ним потом стало, не знаю. А в доме нынче детский сад. Тепло там зимой. Между бревнами и обшивкой олений мех проложен.

На здании рядом с табличкой — райком партии — привинчена доска: «Здесь помещался штаб красных партизан».

— Это тут был бой в восемнадцатом?

— Тут. Белые со стороны теперешнего исполкомовского крыльца подошли.

Главный ижемский историк сейчас на пенсии. Сорок лет учительствовал в этих краях, преподавал литературу, а увлекался историей. Помощников у него много. В школе есть отряд следопытов. После каждого похода в музей прибиваются еще несколько экспонатов. Мы видели два альбома следопытов. В одном — портреты и записи бесед с бывшими красными партизанами, другой посвящен первым ижемским пионерам.

Краеведческий музей занимает

три комнатки в Доме пионеров. Тесно. Многие интересные экспонаты не выставлены. А чего только нет в музее! Фотографии Ижмы начала века, сделанные политическими ссыльными. Древние орудия для обработки оленьих шкур. Пятидесятикилограммовый мамонтовый клык — подарок археологов, которым музей и друг и помощник. На столе чучело лисы — подарок колхоза «Путь Ленина». Ануфриев достает пакетик нафталина, посылает роскошную чернобурку.

На стене под стеклом — простреленный и залитый кровью комсомольский билет Михаила Семьяшкина. Пуля пробилла этот билет 8 мая 1945 года в Германии — так написано на стенде. Мы долго молча стоим у этого экспоната, пришедшего из поверженной фашистской Германии в далекое село в Коми АССР.

— Это я у него выпросил для музея, — после долгой паузы говорит Иван Федорович.

— У кого, у него? — не поняли мы.

— У Михаила Федоровича. Он у нас начальник орс.

Начальника орс Ижемского леспромхоза Михаила Федоровича Семьяшкина мы застали в его кабинете. Белый телефон на столе каждые пять минут взрывался звонком. То речь шла о каких-то накладных, то о загрузке лодки, отправляющейся в дальние лесопункты. Хозяйство у Семьяшкина большое — 22 магазина, 4 столовые и 5 пекарен. И все на участке 240 километров, где главный транспорт — лодки.

— Последнее ранение — это на Эльбе. Готовились к встрече с союзниками. Я артиллеристом был, так мы пушки в сосновом бору устанавливали для парада.

— Да нет же, я говорю, сливочное масло... — это в белый телефон.

— ...Ну и, видно, плохо прочесали: на дереве фашист затаился, снайпер, наверное. Выстрела я не слышал.

— Помидоры будут, прибыли помидоры. — Опять неугомонный телефон.

— ...Пуля прошла навывлет чуть ниже сердца. Как раз через карман гимнастерки. Пробила кандидатскую карточку, комсомольский билет и армейскую книжку. Комсомольский билет мне оставили, потому что я был комсоргом батареи...

— Машина к реке пошла. Да, сейчас будет. Можно грузить. Да, сливочное масло! Сколько можно повторять! — Белая трубка легла наконец на свое место.

— Это было не первое ранение. Первое под Ленинградом, когда блокаду снимали. В первый день наступления. И второе там же. Отец у меня умер до войны от раны. Ему в гражданскую пуля тоже в грудь попала. Потом он был первым замом УОНО.

— Ясно, ясно. Раз нужно, значит, нужно. Детям тем более. По-сылаю конфеты...

Так и не дал телефон нам спокойно поговорить. Правда, узнали мы, что после войны служил Семьяшкин в комендатуре Берлина, что потом до дому ехал целый месяц. Это сейчас из Ижмы до Москвы можно добраться меньше чем за сутки.

Пожалуй, лучше других путь в Москву знаком ижемскому хору.

В столицу ижемские певцы ездили не раз, они лауреаты многих смотров, конкурсов и фестивалей. Историю свою хор ведет от 1946 года, когда приехал в Ижму демобилизованный разведчик Глеб Семьяшкин. Сначала он собрал вокальную группу, потом хор. А позже, начиная с 1950 года, были и дипломы, и призы, и медали. И звание заслуженного артиста Коми АССР художественному руководителю хора Глебу Васильевичу Семьяшкину.

Накануне сельские артисты вернулись из Сыктывкара: выступали на концерте, посвященном вручению республике ордена Ленина. Приехали все расстроившиеся. Концерт прошел хорошо, зрители долго не отпускали ижемцев со сцены, скандировали: «Пе-чо-ру! Пе-чо-ру!» Просили исполнить песню Глеба Семьяшкина «На берегах Печоры». А тут, как назло, у солиста пропал голос. Вызывали «Скорую помощь», возили в больницу, сделали укол — напрасно. Так и не спели «Печору»!

Мы слышали эту песню, когда плыли на теплоходе по реке, которой песня и посвящается. Агитбригада Дома культуры отправилась в дальнее путешествие. В тундру, к землякам-оленьводам. Плыла над широкой рекой раздольная песня.



Замученным, расстрелянным, погибшим — этот памятник над рекой.

Концертов хор дает много. В прошлом году их было 89. А летом обязательно одна поездка в тундру. На этот раз она особенно тяжелая, в прямом смысле слова тяжелая. Много багажа. Взяли с собой кинопередающую, два художественных фильма и несколько своих, производства ижемской сельской киностудии — есть и такая при Доме культуры. Пусть оленеводы узнают, как живет родное село, не только по рассказам.

Впрочем, рассказы будут тоже необычные. Накануне отъезда агитбригады мы ездили с работником райкома партии Кимом Кушмановым по окрестным селам, собирали последние новости. Происходило это так. В правлении колхоза «Заветы Ильича» поставили магнитофон. Широко открыли дверь. Пожалуйста! Кто хочет что-нибудь сказать мужу, отцу или сыну, заходит! Записали несколько пленок.

Вот свежие сельские новости: Андрей Канев — отцу Александру Андреевичу:

— Здравствуй, папа. Как ты живешь? Я скоро пойду в школу, в шестой класс. Все лето я работал пастухом, а со вчерашнего дня работаю конюхом. У нас новостей особых нет. Купили стиральную машину.

Екатерина Ефимовна Чупрова — братьям Егору и Василию:

— Егор, Вася, здравствуйте! Дети здоровы. Дома ваши строятся. У Егора — подвели под крышу, сегодня ставили конек, у Васи кончили с фундаментом.

Михаил Артеев — отцу Александру Акимовичу и матери Александре Прокопьевне:

— Пока был с вами в тундре, из военкомата повестка пришла. Вероятно, через месяц в армию призовут. А пока я шофером работаю. Сегодня на технику стою. Брат Вася на сенокосе, посылают его учиться на автослесаря.

А Коля Вокучев так ничего и не сказал в микрофон. Он недавно приехал от родителей из тундры, поступать в школу, в первый класс. Прошептал только: «Папа, мама...» И заплакал. Соскучился парнишка.

Несколько катушек магнитофонной пленки с сельскими ново-

стями тоже в багаже агитбригады. И много песен и частушек.

Когда мы уезжали из Ижмы, было холодно. Ветер гнал по реке мелкую волну. На скамейке у обрыва по-прежнему сидел Лазарь Михайлович Артеев. Сидел, опершись на неизменную свою палку, снова и снова всматривался и вслушивался в свое родное село. Какая ты нынче, Ижма?

Внизу, на причале, резвятся девочки, крутят хулахупные кольца. Проплыл «газик», на дверце крупно написано «Кино», поехал за новым фильмом. По деревянному тротуару процокали каблучки-гвоздики. В Доме культуры сегодня концерт Ленинградской филармонии.

Четыре столетия стоит на берегу реки село Ижма. Живут здесь Артеевы, Каневы, Семьяшкины, Чупровы — дети, внуки и правнуки тех, кто дрался тут за Советскую власть.



многозначительном молчании, лишь укоризненно смотрит на меня. Другая вежливо улыбаются. Действительно, чтобы не нарушать санаторный режим, выехали мы поздно. Но, зная музейные правила, я, признаюсь, не очень беспокоился, ибо впереди был целый день. И ах как здорово просчитался! Но об этом потом, а пока я сообщу, что едем мы по фео-досийскому шоссе, едем в Старый Крым, а самодеятельный музейчик, который в этих краях итинно именуется Доминио Грина, едем в обычный, будний день, ибо нам уже сообщили, что в воскресенье пришлось бы долго ждать очереди.

Александр Грин — одно из самых своеобразных имен в советской литературе. Есть писатели, известность которых вспыхивает мгновенно, горит шумно, ярко, как береста в костре. И так же быстро догорают. А бывает наоборот: известность разгорается непод-воль, неторопливо, но зато потом, часто после смерти творца, обра-щается прочную, спойную яркость. Такова творческая биография Александра Гриневского, Грина,

ский человек в величайшей из войн свернул шею объединенным силам фашизма, забросил в нос-мос первый спутник, отирал лю-дем дорогу в межзвездное про-странство и первым шагнул в открытый космос, сам став на не-долгое время живым спутником Земли!

Обо всем этом невольно дума-лось по пути в Старый Крым, ту-да, где скромно жил, много рабо-тал, где умер и где погребен этот своеобразный писатель, которому суждено лишь посмертно пожи-вать заслуженную славу. Грин всю жизнь мечтал о дальних стран-ствах и лишь однажды предпри-нял короткое морское путеше-ствие. Сейчас «Александр Грин» — большой современный корабль — бороздит воды морей мира. Книги писателя издаются и переиздаю-тся на десятках языков в Советском Союзе и далеко за его рубежами. Недавно предпринятое «Огоньком» издание собрания сочинений А. Грина в шести томах, издание с отличными иллюстрациями и не-дешевое по цене, разошлось поч-ти мгновенно.

Ну вот на дороге и надпись:

«А. Грин» — это фансишма вре-заю в камень памятника. И сразу становятся объяснимыми все столь необычные украшения, симво-лики с ветвей старой алычи. Шо-фер рассказывает: долго не бы-ло ни ограды, ни надгробия. Над могилкой склонялась лишь эта алыча, выросшая, так сказать, по собственной инициативе. Но троп-ка, ведущая сюда, не зарастала и тогда... Народная тропа... За час, пока мы были на старом кладби-ще, и могила под дикой слявой пришла несколько экскурсий. Лю-ди все время толпились вокруг, сидели на скамеечке, так что сын едва уложился момент, чтобы сфото-графировать надгробие.

И у дома на тихой, заросшей травой улице тоже не иссякает этот человеческий поток. Опытный крымский шофер как-то точно вы-считал движение людей через му-зей, и, когда мы сюда приехали, часа через полтора, нам раз и под-ходила наша очередь. Калитка при-вела в садик, и домишко, смотря-щему на улицу единственным он-ном. Причистый, чисто выбелен-ный, он весь утопал в южной зе-лени, и не человеческая рука, а

Короткая встреча с Александром

Борис ПОЛЕВОЙ

Хочется рассказать сейчас об одном из самых памятных для меня дней этого года. Нет-нет, ничего сенсационного. Обыч-ный яркий предосенний крымский день. Солнце палит воюю. Синеват неба сменяется с синевой моря. Над всхолмлен-ной равниной, вернее, над яр-но-зелеными виноградниками, ибо голых равнин в этом краю вот уже несколько лет как нет, зы-бится густое, студенистое марево. Невысокие, пологие горы вырисо-выаются на горизонте так четко, что кажется: протяни руку — и можно погладить их по скалистым, серым лысым. Молодая, благо-устроенная и очень трудовая доро-га. Вереницами несутся самосвалы с золотой пшеницей. В огромных грузовиках девушки и подростки с песнями едут на совхозные вино-градники. Несколько запоздалых такси, битком набитых курортни-ками, обгоняют наш микроавто-бус.

— Это туда, в Старый Крым, и не-мудро... Поздно выехали, долго ждать придется, — говорит водит-ель, у которого на лице бронзо-вый крымский загар резко конт-растирует с белесым лысым чу-бом.

— Ну вот, видишь, я же гово-рил, что надо выезжать раньше. Знаешь, там столько всегда наро-ду! — волнуется мой младший сын, главный инициатор этой экскур-сии. Дочь, студентка, умеющая прятать упрям в достойном и

писателя, выпустившего еще в 1908 году первую книгу рассказов «Шапка-невидимка», много потру-дившегося в советское время, не очень широко известного при жи-зни, умершего в 1932 году, слава которого разгорелась во всю силу только сейчас, в середине шести-десятых годов.

Нет, нет, и мое поколение, сей-час уже приближающееся к пен-сионному возрасту, читало его книги. С интересом, с увлечением читало, ибо советский человек уже в силу своих идей ценит все луч-шее, что рождает искусство, лю-бит искреннюю, неподдельную ро-мантику, благородство чувств, смелые мечтания, самоотвержен-ность и веру в победу разума и света. Он с презрением отвергает суперменство в любой его форме, но верит в Человека с большой буквы и на этой вере в Человека, в сущности, и основывает все свои планы и свершения. И раньше, когда, увы, и в очень солидных изданиях про Грина писалось, что он «...в своих произведениях по-слевоенного периода противоре-чивает реальной советской действительности... своего рода внеэтнический космополитиче-ский «рай», ...воспевает сверхче-ловека нищеванского типа», даже и в этот период вопреки подобным вулгарно-социологическим ут-верждениям критиков-начетчиков люди с интересом читали его кни-ги и, читая, возмущались на роман-тических алыч парусах своей очень реалистической, облаченной в цифру пятилетки фантазии. Ка-ким же малым и жалким вздором кажутся подобные статьи и ста-тейки о Грине сейчас, когда совет-

«Старый Крым». Маленький, очень тихий и тихий городок. На улицах никого, лишь петухи лениво пере-кликаются через заборы и пыль стелется рыжий пыльный хвостом алыч нашему микроавтобусу. Возле одной из калиток пестрят толпа. Толпа-очередь, в которой попеременно и загорелые курорт-ники в шортах, и матросы в празд-ничной щеголеватой форме, и пи-онеры в наутюженных костюмчи-ках и галстуках, и какой-то заго-ревший дядя в широком соломен-ном бриле с двумя маленькими ребятами.

— Ну, видишь, опоздали. Я же говорил, — волнуется мой сын.

— Ничего, зайдем очередь и съездим пока на могилку, — при-мирно говорит шофер, которому не впервые возить сюда инте-ресующихся творчеством Грина.

Занимаем очередь и едем за го-род на старое кладбище, где сре-ди других скромных могил, мало чем отличаясь от них, и могила писателя. Продолговатый холмик, цементное надгробие с граммоной дощечкой. Железная ограда. Но над могилкой этой раскинула ветви узловатая алыча — из тех, что ра-стут на склонах гор, простое кра-сивое дерево. Удивительное дере-во, потому что, кроме маленьких продолговатых плодов, оно, как новогодняя елка, украшено пи-онерскими галстуками, высохшими буметиками цветов, накинато по-стрыми шарфиками. Все это тоже, как плоды, свисает с ветвей над стандартным надгробием, с кото-рого с фотографии смотрит худо-щеский человек с болезненным ли-цом, с неустойчивыми, требователь-ными глазами.

рука природы окружила грозды-ми винограда неморальную до-ску, говорящую о том, что здесь жил и работал писатель Александр Степанович Грин. И все.

А дальше было все, как в здеш-них старокрымских домах: узень-кая прихожая, из нее ходок в маленькую кухню, которая на лето переносилась во двор, и дру-гой, ведущий к двери в неболь-шую комнату, смотрящую своим окном в зеленый палисадник. Вдо-ва писателя сохранила в неприкос-новенности всю обстановку — ло-жберный столик, занавешенный че-рилами, стулья. Стопин книг. На стенах — несколько фотографий. Шхуна с алыми парусами — само-дельный дар пионеров. Книжки, ин-ги — произведения Грина, изда-ние в разных советских респуб-ликах и зарубежных странах.

Кажется, что тут гадать? Но люди стоят, смотрят, думают. Слу-шают рассказы вдовы писателя, которая стала добровольным ги-дом в этом самодеятельном музей-чике. И сразу как-то попадаешь в плен к этому общему настроению. Начинаешь присматриваться и этим крохотным комнаткам, и их вытертым подошвами полам, и по-току людей. И вдруг как-то по-но-вому думаешь и об «Алых пару-сах» и о «Бегущей по волнам». И особенно о поэтических образах, рожденных в этой комнатке.

Смотрю на дочь и на сына. Ви-жу, волнуется. Искреннее волне-ние. Сын осторожно, а бы даже сказал, почтительно, фотографи-рует письменный стол писателя, стул, старые портреты на стенах. Сейчас, когда «Алые паруса» ши-

МЕРИДИАНЫ, СОБЫТИЯ...

Перед нами — книга авто-ром которой трудно не являет-ся писатель или профессиональ-ный журналист. Автор книги Владимир Кованов в годы Ве-ликой Отечественной войны был рядовым армейским вра-чом. Перед его глазами прошли страшные страницы войны — страдания раненых, которым он возвращал жизнь. Сам Кованов тоже не избежал вражеских пу-лей, одна из которых повреди-ла ему ногу. Отдав себя безза-ветному служению самой гу-манной человеческой профес-сии — медицине, Владимир Ко-ванов стал доктором медицин-ских наук, профессором, дейст-

вительным членом Академии медицинских наук СССР.

Но ученый Кованов не изо-лировался от жизни у себя в ла-боратории или кабинете. Обще-ственность избрала его членом Президиума и секретарем Со-ветского комитета защиты ми-ра. Владимир Васильевич Кова-нов — хирург-эксперимента-тор и общественный деятель — побывал на различных контин-ентах, принимал участие в международных научных кон-ференциях, в конгрессах борцов за мир.

Очерки Кованова захватыва-ют читателя, который узнает из них много нового и интерес-ного. Автор считает, что наука в наше время способна творить чудеса, но для этого необходи-мо защитить мир, дать решительный отпор силам имперна-листической реакции, разжига-

ющей пламя военных конфлик-тов, стремящейся преградить человечеству путь и прогрессу, свободе, счастью.

Описывая встречи с англий-скими медиками, он справедливо замечает, что наука никогда не была ограничена интереса-ми какой-либо одной нации или государства. Веседе автора книги с английскими коллегами убеждают последних в необхо-димости развития советско-ан-глийских контактов в области науки и культуры, что, несом-ненно, создает предпосылки и для улучшения климата полити-ческих отношений между дву-мя крупнейшими европейскими державами.

Пакистан, Индонезия, Югос-лавия и другие страны живо представлены читателям книги.

В Швейцарии автор соверша-ет путешествие по ленинским местам, где работал Ильич, где он написал свой знаменитый труд «Материализм и эмпирио-критицизм». «Кто знает, — пи-шет Кованов, — может быть, именно здесь, в Швейцарии, у

Ильича, терпевшего лишения и нужду, изнурявшего себя не-посильной работой, впервые легла на кровеносные сосуди-тель будущей тяжелой болез-ни...»

В Швейцарии же автор встре-чается с участниками антиато-много движения, возглавляемого пастором Кобе, с видным об-щественным деятелем Вухби-дером, который выступает за быстрое проведение конферен-ции, посвященной европей-ской безопасности. Он встре-чался с известным юристом и общественным деятелем Швей-царии Хабихтом, который был в числе цюрихских студентов, провожавших Владимира Ильи-ча на вокзал.

В США осенью 1962 года со-стоялась встреча деятелей со-ветской культуры с круглым столом с представителями ин-теллектуального и делового ми-ра Америки. Как раз в это вре-мя угрожающий характер для судеб всего мира принимал кризис в районе Карибского

В. Кованов. Меридианы, события, встречи. Политиздат. М., 1966.

роко распушены на афишах оперных театров, когда этим именем называются комсомольские клубы и заглавие романа стало как бы символом юношеской мечты, волнение это понятно. С тем большей досадой вспоминаешь читанные когда-то критические статьи о том, что писатель будто бы старался противопоставить советской действительности свою «страну-мечту» с несуществующими экзотическими городами Зурбаган и Гель-Гью. Как жалко звучат эти ложно-многозначительные слова перед громадами изданий и переизданий, перед действительной народной славой и непрерывным тоном посетителей через вот эту скромную комнату! Но, и сожаление, и пусть это прозвучит упреком культурным организациям Симферополя и Феодосии, эти вздорные слова, по-видимому, еще имеют силу. Несмотря на свою популярность, среди крымчаков и курортников, Домин Грина лишь формально объявлен филиалом Феодосийского музея. Он существует поочередными адресами писателя, живущей на очень скромную литературную пенсию. На могиле,

ние сочинений, издающиеся в одном из крупнейших советских издательств. Да и в самом домике, если приглядеться, не так уж бедно. Вот дикий портрет, нарисованный его землячкой — медицинской сестрой по профессии. Вот на стене матросский воротник, имеющий историю, вполне достойную автора «Алых парусов». В прошлом году судно, вернувшееся из дальнего плавания, ошвартовалось у пирса в Феодосии. Моряки, желая посетить этот домик, сложились на огромный венок из роз. Но один из них отстал от группы. Он схватил танки и примчался сюда поздравить своих товарищей. Венок был уже возложен. А моряки не хотели оставаться от друзей, уже выразивших уважение писателю. Что будешь делать? Он снял с парадной гимнастерки свой флотский синий воротник и отдал его как дар памяти. Теперь этот воротник прикреплён к стене. Кто-то из посетителей прикрепит к нему первый значок. Теперь матросский воротник сплошь покрыт значками — советскими, чехословацкими, польскими, вьетнамскими и иными — значками многих стран, люди которых посетили этот скромный, до обидного скромный музей.

Но это, в сущности, пустяки. Все придет в свое время. Можно быть уверенным, что рано или поздно и крымские организации воздадут должное памяти писателя. Как воздало ему Советское правительство, присвоив его имя большому и красивому океанскому кораблю. А пока что и без этого не зарастает народная тропа, ведущая к маленькому домику, ибо никогда не иссякнет потребность советских людей в высокой, вдохновляющей романтике, в чистом, возмущающем гуманизме, в алых парусах мечты.

Вот что захотелось мне сказать после короткого свидания с Александром Грином на тихой, заросшей травой улице Старого Крыма в один из предосенних дней.

Грином

столь широко посещаемой, нет сейчас хотя бы скромного бюста писателя.

С точки зрения памяти Грина это, может быть, и несущественно. Старая алыча, украшенная пионерскими галстуками и шарфиками, посланное брамора и бронзы. Могут ли быть более выразительные монументы, чем собра-



Домик Александра Грина.

Фото Алексея Полевого

моря. «Что и говорить, — пишет автор, — обстановка для диалога о сосуществовании, о культурных, научных и иных контактах, который велся в актовом зале Антверпского колледжа, была, мягко говоря, мало подходящей. И все-таки мы продолжили свои собеседования».

Чистосердечно описывает автор свои встречи с американцами, с сожалением отмечая, что многие из них имеют крайне ограниченное представление о том, что происходит в мире, какую политику проводит СССР.

Но вместе с тем автор верит в разум и совесть американского народа, в то, что его лучшие сыны найдут в себе волю и решимость дать отпор «бешеным» всех мастей и вывести страну на путь тех великих традиций, которые завещали ей Линкольн, Джефферсон, Рузвельт.

Автор книги побывал в стране, к которой сегодня прикованы взоры всего человечества, — в героическом Вьетнаме. Он описывает самоотверженный

труд и мужественную борьбу вьетнамского народа.

С волнением автор рассказывает о массовом героизме народа, о боях, взрывающих себя вместе с танком противника, о двенадцатилетнем мальчине, который облил себя керосином, живым факелом пронесся по гарнизону интервентов и поджег склад с горючим, об отважном воине Фан Дине, повторившем подвиг Александра Матросова.

Могучее движение за мир, объединяющее в своих рядах всех людей доброй воли, набирает силы, крепчает. Сила этого движения в том, что она объединяет людей всех стран, желающих отдалить все свои силы благородному служению светлым идеалам мира. Нет сомнения в том, что читатели тепло примут книгу Владимира Кованова.

Н. ПАСТУХОВ,
секретарь Советского комитета
защиты мира

Под грохот войны

В книге Клары Ларионовой «Московское воскресенье» две повести, и обе они посвящены подвигам советских людей в грозные годы Великой Отечественной войны, их выдержке, моральной чистоте, стойкости и невиданному в истории героизму.

Прежде всего хочется остановиться на первой — «Московское воскресенье», которая дала название всему сборнику. Повесть оригинальна по замыслу. Автор показывает драматические события тех дней сквозь призму мирозерцания московской интеллигенции: профессора-хирурга Сергея Сергеевича Строгова; его сыновей: Евгения Строгова — известного музыканта, впоследствии война-офицера, Дмитрия Строгова — инженера оборонного завода, затем тоже офицера; его дочери Оксану — художницу, ставшей медицинской сестрой...

Но самое важное заключается в том, что писательница хорошо знает, каково была столица в описываемые дни, какие чувства и мысли волновали в

ту трудную осень ее жителей и в первую очередь представителей интеллигенции. Острый сюжет повести, стремительное развитие событий позволили автору создать интересные, колоритные по своему характеру образы. Смелые идут на врага, трусливые бегут, спасая шкуру. Погибают храбрые, щедрые душой люди, но такие же храбрые люди отбивают врага. И чувство победы — главное чувство повести — прочно остается в сознании читателей.

Подвигу девушек и женщин Советской страны, ставших в годы войны солдатами, посвящена вторая повесть К. Ларионовой — «Звездная дорога». Это правдивая и увлекательная летопись о том, как создавались по призыву Героя Советского Союза Марины Михайловны Расковой полки ночных бомбардировщиков из добровольцев — девушек и женщин.

Новая книга К. Ларионовой «Московское воскресенье» написана просто, свободно, она охватывает и дни горя и дни победоносного наступления. Автор показывает ошибки и рост своих героев, понимает всю тяжесть и величие их подвига, тем самым заставляет и читателя полюбить и понять этих простых и храбрых людей.

С. МИХАЙЛОВ

ПАРЕНЬ ИЗ ДЮССЕЛЬДОРФА

Новая повесть Н. Тихонова «Зеленая тьма» привлекает каким-то необычным изяществом письма, тонким рисунком душевного состояния, даже смятения ее главного героя Отто Мюллера из Дюссельдорфа, попавшего в экзотическую Бирму за несколько часов передоборительного полета на комфортабельном самолете. В сущности, это — разоблачительное произведение, срывающее благопристойные покровы с неоколониалистских мечтаний тех, кто спит и видит мир зажатый в железные клещи политической и экономической зависимости. И в этом смысле сугубо подстрекательски звучат рекомендации матерого захватчика Ганса фон Дитриха, которыми он оснащает своего племянника Отто перед мирным вторжением в «желтую Азию». Здесь и сладкие слова о «высокой миссии» белого человека и непереносимое напоминание о «родной истории» и «родных традициях». Ганс фон Дитрих по-дипломатски опрятно формулирует методику оседлания облобованной страны: «Придуши, но мягко».

Вот с такой отнюдь не мирной «начинкой» отправляется помогать «выродившимся народам» Отто Мюллер, здоровый, крепкий, с молоком, парень, не ведающий ни колебаний, ни сомнений. И летит Отто как бы выпущенным из пращи стародавних инстинктов рыцарей «огня и меча». Путь его прям и предначертан. И вот мы видим, как этот неукоснительно вычерченный путь начинает менять направление, сообразуясь с поправками на время.

Н. Тихонов сталкивает своего героя с такой реальностью, которая почему-то никак не хочет признать рекомендации старого Дитриха. Отто, парень с молоком, начинает те-

рять душевное равновесие. У него, должно быть, такое ощущение, будто все эти «традиции» и «миссии» — просто плохо сшитый костюм, причем надетый не по сезону и не по климату. Все недоумение и вся неловкость Отто показаны автором так естественно, без малейшего нажима, что невольно испытываешь чувство жалости к молодому человеку, навьюченному тяжким и душно пахнущим скарбом. Отто раздражается, Отто терпит на время чувство реальности. Колдовские чары острой азиатской экзотики, с таким вкусом и знанием показанные Н. Тихоновым, как бы начинают приводить в себя окостеневшего в предубеждениях, но в общем-то неплохого человека.

В повести есть сцена, весьма примечательная и увлекающая странная, когда Отто Мюллер получает своеобразную моральную встряску в доме «приоритетеля трав» У Джи. Отто Мюллер коснулся сокровенных, нематериальных богатств другого народа, чтобы неясно, почти ирреально почувствовать всю хамскую грубость присоветованных ему этических рекомендаций.

Особенно мучительным для Отто был рассказ бирманского инженера У Тин-Бо, который поведал ему страшную историю плененных японцами англичан, жестоко брошенных на мучительную смерть в зеленый ад джунглей.

Короткая история Отто Мюллера, написанная Н. Тихоновым, — яркий отблеск тех бескровных, но тем не менее грандиозных битв, которые разыгрываются в душах людских над пропастью вражды, разделяющей мир свободы, надежды и жмурий, пасмурный мир неунывающей агрессии.

Сильное и тонкое искусство Николая Тихонова послужило в высшей степени гуманистическим задачам.

Н. Тихонов. Зеленая тьма.
Журнал «Знамя» № 6, 1966.

Н. СЕРГОВАНЦЕВ

ПИСАТЕЛИ
И КНИГИ

Геля и Арсений

Михаил БУБЕННОВ

Рисунок А. ЛУРЬЕ.

Хотя Геля и уступила настоянию Морошки, она с большой неохотой поехала в его деревню. Гелю чем-то пугало предстоящее знакомство с матерью Морошки. И потом, как это ни странно, она опять испытывала то смутное чувство, какое разбудило ее прошлой ночью. Но у нее, как и ночью, все не хватало и не хватало времени донскаться, чем вызвано оно, это навязчивое чувство...

Пуля Морошки, к счастью, миновала Белявского, но, скатываясь в овраг, он не то вывихнул, не то сломал правую ногу в бедре и ободрал лицо о камни и ветки. На рассвете его отправили в Железново.

Безынициальность Морошки для всех, в том числе и для Белявского, была очевидной. И все же Белявский глядел на Морошку зверем. Когда же парни принесли на катер его вещи, он возмутился:

— Кто вас просил?
Один из парней сказал:
— Так ведь, может, и не вернешься теперь.
— Я? Не вернусь?
— Ну, а если нога сломана?
— Отрежут — на одной вернусь!
— Будь мужчиной, — невесело посоветовал ему Морошка.

— Катись ты!..

Узнав о том, что говорил Белявский, отправляясь в Железново, Геля поняла: ее решительное поведение не только не остановило Белявского, но что она рассчитывала, но еще более разожгло. И Белявский, судя по всему, еще не скоро оставит ее в покое. Но теперь, после ночного случая, его преследование определено грозило бедой.

Все утро Геля думала о том, что будет, когда Белявский вернется из больницы, и потому не могла сосредоточиться в себе — сосредоточиться и донскаться, какое же чувство преследует ее со вчерашней ночи.

...Вся деревенская улица, по которой Морошка и Геля шли на западный край Погорюя, была изрыта машинами и тракторами: рытвины, выбоины, как на военной дороге, случись дождь — и улица превратится в непроходимое болото. Оказывается, лесхозовские машины и трактора развозили сельчанам сухостойные лесины, а той порой стояла непогода. Гелю поразило, что почти все дворы погорюйцев были заняты высокими поленищами сосновых дров, так что и пройти-то по дворам негде. А

у многих хозяев поленищцы были сложены даже на улице, у заборов и ворот. Куда ни глянь — дрова, дрова, дрова...

— За зиму все сожгут, — пояснил Морошка. Было воскресенье, но людей встречалось мало. По словам Морошки, все, кто мог, отравились сегодня по грибы и ягоды: сейчас самое время набить погреба и кладовки щедрими дарами тайги. На лавочках у домов сидели, греясь на солнце, лишь древние, немощные старики да старухи. Все они, как заметила Геля, едва разглядев Морошку, услышав его басовитый голос, торопливо поднимались с лавочек, кланялись ему с почтением в пояс, а то и обнимали его, как родного сына. И все настойчиво и ласково звали в гости. А Гелю старые сельчане рассматривали с любопытством, но осторожно, боясь смутить, и ничего о ней у Морошки не спрашивали. «Умные старички! — удивлялась Геля. — Покультурнее к ним нахалов в городе». Эти случайные встречи слегка успокоили и приободрили Гелю. И все же она не могла представить себе, как покажется матери Морошки.

Удивило Гелю и то, что все сельчане, встречаясь с Морошкой, непременно расспрашивали его о том, как идут дела на Буйной. Одна маленькая старушечка, поймав Морошку за жилистые руки, стараясь получше разглядеть его лицо, допытывалась особенно настойчиво: — Что там, Арсений Иванович, как у ты на Буйной-от? — У нее был полон рот зубов, и говорила она чисто. — Успешь ли уладить ее ко времени? А то ить беда, сам знаешь.

— Знаю, знаю, — твердил ей Морошка, не проявляя, однако, никакого намерения поскорее уйти от старушки.

— Постарайся, Арсеньюшка...

— Все сделаю.

— Гляди, на ты вся надбьга!

Так на улице Погорюя Геля впервые узнала, как тревожится народ за дела на Буйной. Это было для нее откровением, и оно, как внезапно проглянувшее солнце, помогло ей разглядеть в Морошке еще кое-что, что оставалось для нее неясным прежде.

На краю деревни стояла совсем крохотная пятистенка под тесовой крышей, но более поздней постройки, чем большинство деревенских строений, с двумя оконцами на солнце; наличники над ними — из простенькой резнины, куда менее замысловатые той, что делалась встарь; ставенки, недавно окрашенные белилами, четко отпечатывались на фоне изрядно потемневшей древесины. В палисаднич-

ке с огорожей из молоденького соснового кругляша, перед каждым оконцем росли черемухи — самые частые гости в деревнях на Ангаре.

Войдя в калитку впереди Морошки, Геля одним взглядом объяла дворик, наполовину крытый тесом и выстланный толстыми плахами из лиственницы. Плахи хотя и потемнели от времени, но были чисты, как половицы в доме хорошей хозяйки. Открытая часть дворика была занята поленищами дров и амберушкой, вероятно, с погребком внутри, как часто водится в сибирских деревнях; крытая же часть дворика, где виднелась опрокинутая на чурбаны лодка, была отгорожена новой, неокрашенной сетью из капроновой нити. Перед сетью на скамеечке, спиной к калитке, сидела его мать...

Старушка задумалась или увлеклась работой и обернулась лишь тогда, когда Морошка, закрывая за собой калитку, стукнул щеколдой. Но еще до того, как она успела обернуться, Геля, увидев ее дворик, составила о ней определенное впечатление. И когда наконец-то увидела ее лицо, поняла, что не ошиблась, да и непозволительно ошибаться: на этом дворике могла обитать только такая женщина, как мать Морошки. Она была небольшого роста — по грудь своему сыну, вся опрятная, вся беленькая, но с зоркими темными глазами, которые молодили ее необычайно. Увидев гостей, она так вспыхнула от радости, что у нее даже заметно порозовело чистое, а едва приметных морщинках, милое старушечье лицо. В ее чертах не было ничего общего с Арсением Морошкой, и все же Геле немедленно подумалось, что она, где угодно встретив Анну Петровну, непременно признала бы ее матерью Морошки.

— А я ждала вас, ждала, — заговорила Анна Петровна, с первой минуты обращаясь не только к Морошке, но и к Геле, да еще как к давно знакомой и желанной, и тем самым избавляя ее от условностей, обычных при знакомстве. — Все на огород бегала, на реку поглядывала. Нет и нет. А тут, видать, задумалась у сетушки... Голос у нее был мягкий, певучий, но говорила она очень сдержанно, ровно, и все ее слова светились, будто камешки на речном дне в солнечный полдень. — Рада я, радешенька... Сейчас я самоварчик поставлю...

— Ой, что вы! — запротестовала Геля. — Не хлопочите.

— Нет уж, вы гости, — возразила Анна Петровна. — Как мне не угостить вас? Мне совестно будет.

— Хорошо, хорошо, — согласилась Геля, боясь обидеть Анну Петровну, не приняв ее гостеприимства.

— Я и варенье наварила...

— Варенье она любит, — сказал Морошка.

— Вот и славно!

— А какое у тебя, мама?

— Всякое. На любой вкус.

У Гели не осталось никаких сомнений, что Анна Петровна принимает ее с радостью, и стеснительность ее быстро исчезла. Этого не мог не видеть Арсений Морошка. Но Геля с удивлением заметила, что он продолжает следить за каждым шагом матери, за каждым ее взглядом с некоторой настороженностью. «Он боится, что я не понравилась матери? — спросила себя Геля. — Чудак! Да она вон как рада! Чего ему бояться? Она такая добрая, что для нее, наверное, все люди хороши». И еще казалось Геле, что Арсений Морошка, несмотря на очевидную приветливость матери, все ждет от нее чего-то, не то каких-то слов, не то слез, и ждет с непонятной, несвойственной ему робостью...

Указывая глазами на сеть, он заметил с обидой:

— Совести у них нету, у наших рыбаков...

— Бывает, просят, — ответила мать весело. — Нонешние-то рыбаки совсем не умеют сети ладить. Им все готовые подавай. Чинить — и то сами не чинят. А я привычна: сызмальства вяжу да удельваю. Да мне и скушно одной, без сетей-то. Удельваю — всю жизнь вспоминаю.

У Морошки нахмурились брови.

— А ты не бойся: плохое я не вспоминаю, — сказала Анна Петровна. — Пошто его вспоминать? В любой жизни, как ни считай, не меньше и хорошего... Оттого и жить охота.



Она прошлась вдоль сети, изредка сухонькой ручкой потряхивая ее и трогая поплавки из пенопласта, откровенно приглашая сына полюбоваться ее работой. И затем, сняв от удовольствия, какое дается сознанием редкостной удачи, тихонько воскликнула:

— Хороша сетушка! Понимиста будет.

Но сын продолжал хмуриться, и Анна Петровна, коснувшись его руки, попросила:

— А на рыбаков ты не серчай...

— Да как же не серчать-то?

— Это не им, а тебе сетушка.

— Что ты, мама!

— Помолчи уж, помолчи,— остановила мать сына, но опять ласково, просяще.— Это мой подарочек тебе. Она небольшая, с такой-то позволяют пока плавать. Вот и поплавай, и покажи, как у нас рыбачат, и угости красной рыбкой...— Она не называла Гелю, понимая, что та и без того смущена; вместе с тем давая понять, что говорится именно о Геле, она тут же обратилась к ней:— Больно хороша у нас стерлядка-то! Только мало ее нынче, совсем оскудела река. Вот допрежь-то поели мы здесь красной рыбки, всласть поели! Бывало, поедут рыбаки...

Арсений Морошка обнял мать за плечи, сказал глуховато:

— Ладно, мама, ладно...

Мать покорно примолкла, но взор ее слегка затуманился тихой осенней грустью...

От Гели не ускользнуло, что Морошка оберегает мать от воспоминаний о прошлом. «Почему он останавливает ее?— подумала она.— Вроде чего-то боится... Что у них случилось? И когда?» Теперь Геля не сомневалась, что в ожидании гостей Анна Петровна, конечно же, думала о своей прошлой жизни. И совсем не случайно, не в силу старческой склонности. Сердцем чуяла Геля, что ее воспоминания вызваны скорее всего ожиданием сына, да не одного, а с невестой. И хотя она, несомненно, была рада тому, что сын почтительно знакомит ее с невестой, и по-матерински рада самой Геле, ее все же томила какая-то глухая тоска.

Отпробовав разной домашней снеди, Арсений Морошка ушел к мастерской— делать катмаран, а Геля, видя, что приглянулась Анна Петровна, согласилась погостить у нее до вечера. Они не спеша пили чай, и хозяйка хлопотливо угощала гостью разными вареньями

из тавежной ягоды. Все они были так запашисты и приятны, что у Гели не переставало сосать под ложечкой. Геля очень боялась оконфузиться перед матерью Морошки, но не она, к сожалению, а неизвестно откуда взявшаяся у нее ненасытность владела ее правой рукой. Геля зачищала розетку за розеткой с усердием ребенка, дорвавшегося до запретного кушанья, пока не заметила нечаянно, что Анна Петровна следит за ней хотя и украдкой, но с особенным вниманием и вдумчивостью. Застыдившись своей жадности чуть не до слез, Геля мгновенно оставила варенье и оговорила себя с досадой:

— Ой, да что это со мной? Как оголодала. Даже стыдно. Вы уж извините...

Анна Петровна бросилась успокаивать Гелю, но та, растроганно поблагодарив хозяйку, тут же вышла из-за стола.

Стараясь как можно скорее забыться, Геля стала рассматривать фотографии, развешанные по стенам уютной, устланной думеткаными половичками горенки, где пили чай. Внимание Гели сразу же привлек портрет черноглазой девушки с косой, помещенный в отдельной рамке и на самом видном месте— в простенке между оконцами. Не оборачиваясь к Анне Петровне, все еще стыдясь, но понимая, что молчать того хуже, она спросила:

— Это ваша дочь?

— Да, доченька, Веруся...— ответила Анна Петровна, но почему-то не сразу, и осторожно застучала посудой.

— Она на вас похожа.

— Так все говорят.

— А Арсений Иванович, наверное, на отца?

— Он на отца.

Анна Петровна ушла с посудой на кухню и там задержалась, так что Геля, постояв еще немного перед портретом Веры, наконец-то успокоилась и справилась с собой. Услышав, что Анна Петровна опять в горенке, с облегчением продолжала:

— А она красивая, ваша Вера...— Говорила Геля очень искренне, а не потому, что хотела сделать приятное хозяйке.— Какие глаза! Все видит!

— Видели,— сказала Анна Петровна.— Да теперь уж не видит.

— Она погибла?— ужаснулась Геля, оборачиваясь к Анне Петровне.— На войне?

— Нет, здесь...— ответила Анна Петровна, понурясь и теребя на груди фартучек.— Давно уж это случилось. Рыбачила она с отцом,

а тут и налетела буря. Как погибли— и не знаем. Только лодку потом нашли.

— Боже мой!— воскликнула Геля, закрыв лицо руками: теперь ей стало понятно, почему Арсений Морошка так оберегает мать от воспоминаний.— Горе-то какое!

— А что поделаешь?— ответила Анна Петровна, не поднимая глаз, ровно и спокойно, словно боясь своей болью растрогать гостью.— Судьба такая.

— Сколько же ей было?

— Полных семнадцать.

— Невеста уж была!

— Да, на выданье...

— И жених был, да?

— Был.

Стараясь выразить сочувствие Анне Петровне и вместе с тем подчеркнуть, что горе матери ни с чем несравнимо, Геля воскликнула:

— Жениху— что! Он теперь женился, наверное?

— Пока холостой,— ответила Анна Петровна.

— До сих пор? Значит, любит...

— Любил, это правда,— заговорила Анна Петровна, не то что возражая Геле, а как бы уточняя ее мысль.— А теперь какая ж любовь? Память. Не забывает ее, вот что славное. Всегда вспоминает ее с любовью, вот за что ему мое спасибо. И может, никогда не забудет, вот что материнскому сердцу приятно. Теперь не все такие-то...

— И вас не забывает?

— И меня,— ответила Анна Петровна, только теперь посмотрев на Гелю.— Не будь его, мне и не выжить бы тогда, однако... Соседки хлопотали по дому, а он все около меня сидел, день и ночь. Все клюквенной водой поил меня с ложечки. Как ни очнусь— все его вижу, его глаза.

— Где же он сейчас?

Анна Петровна опять посмотрела на Гелю долгим, затуманенным взглядом и ответила одними губами:

— А вот сейчас с нами сидел...

Геля едва успела прикрыть ладошкой рот, чтобы сдержать крик, и несколько секунд смотрела на Анну Петровну тем остановившимся от ужаса взглядом, какой бывает у людей перед могилкой, куда летят первые комья земли...

Потом она долго сидела у окна, положив голову на подоконник, и только когда Анна Петровна, подойдя, погладила ее по голове

сухонькой рукой, спросила, зная, что спрашивает зря, но как бы желая удостовериться окончательно:

— Значит, он не сын вам?

— Как не сын? Сын,— ответила Анна Петровна.

— Ну, не родной, я говорю...

— Как не родной? — возразила Анна Петровна. — Роднее его у меня никого теперь нету. Выходил он меня, а потом и говорит мне: «Вот что, мама, я не уйду от тебя...» «Спасибо,— говорю,— будь сыном». Так он и стал мне сыном.

— Но где же его родители?

— А он сирота. С малых лет... — Присев на табуреточку рядом с Гелей, поласкав ее рукой, Анна Петровна продолжала:

— Теперь уж все рассказать надо... Шестилетним мальчонкой он проводил отца на войну, а через год пошел в школу уже сиротой. А мать, она молодая была, ворочала лесины в тайге, на заготовках, да и надорвалась. Целый год помидала. Все на его глазах. Война кончилась, а он и остался один-одинешенек. Еще годок прожил в деревне, у тетки, а потом его взяли в интернат, в Железновое. Зимой — там, а на лето — сюда, в деревню. Ходил по тайге, засечки делал на деревьях да серу добывал. На химию она идет, сера-то... А подросток — а рыбачку артель принимать стали. Рыбачить у нас тяжело: и сила и ловкость нужны. Да все ведь ночью, а тут, глядишь, и непогода... Версук тоже учился с ним вместе, в той школе-интернате. Вместе и домой приезжали, вместе и рыбачили, бывало...

Она запнулась на минутку, но потом опять продолжала ровным, спокойным голосом, как умеют разговаривать лишь люди, узнавшие, что горе неисчерпаемо, а надо жить — и не для себя, а для людей.

— А тот раз, когда буря-то налетела, — продолжала она, — Арсеньюшка с бригадиром в Железновое ходили, за сетями. Страшная буря тогда случилась. Сколько лесу повалила! А когда возвращались домой с сетями, им кто-то на реке, еще до Буйной, и передай о нашей беде. Так бригадир рассказывал потом, что едва-то уберег его, Арсеньюшку-то, едва в лодке удержал. Связал да закатал в сеть, а то он все хотел выпрыгнуть из лодки. А когда, рассказывал, вспомнил обо мне, и затих и попросил развязать. Вот и прибежал тогда ко мне — все губы искусал до крови, а терпел, ни единой слезинки.

— И даже не нашли! — воскликнула Геля.

— Где там, на нашей-то реке! А лодка вон, под навесом хранится...

— Они уже закончили в то лето школу?

— Вместе и закончили, — продолжала Анна Петровна. — Вместе и собирались в речной институт. А остался один — и никуда не поехал. Выходил меня, поставил на ноги, а осенью его в армию забрали. Сначала страшно было одной, а все-таки я всегда помнила: далеко, а есть у меня сын. И он не забывал меня, писал каждую неделю. У меня все его письма в целости. Вот такая пачка! И на побывку приезжал ко мне... Очень радовался, что попал в армию. Служил хорошо, много благодарностей от командиров получил, да и на шифера там выучился. А закончил службу — и опять ко мне, но тут я ему сама сказала: «Поезжай в институт, учись...» Зимой он учился в Новосибирске, а летом плавал на судах по Ангаре. Сначала матросом, потом штурманом... Идет мимо Погорюя — всегда причалит, забежит ко мне, попроведует, а то и заночует с товарищами. Боялась я, что его ушлют куда-нибудь далеко, когда закончит институт: рек-то в Сибири много! И правда, его посылали на Енисей, а он попросился сюда, на эти взрывные работы, ближе ко мне...

«Скрытный он, что ли? — думала Геля о Морошке, слушая Анну Петровну. — Да нет, не похоже... Просто он не хотел ничего рассказывать. Решил, пусть узнаю все от матери...»

— Начали рвать, а у него тут как раз день рождения... — продолжала Анна Петровна. — Приезжал ко мне, я его поздравляю и говорю: «Отслужил, выучился, все честь-честно, сынок, а теперь пора и жениться. Тебе уж двадцать пять. Тебе нужна жена, а мне — внушата. Версук почитай, добрым словом помяни при случае... Но зачем же молодому да в одиночестве жить? Неужели». А он все слушает да головою крутит. Я ему и так и этак...

«Может, — говорю, — ты стесняешься? Но стесняйся, — говорю, — за Версук в обиду я не буду. Какая тут обида? Женись — и приводи, я ей буду рада. Кого выберешь — того и буду любить, как дочь». «Ладно, — отвечает, — погоди, мама...» Он все молчал потом, а я ждала. А вот как ты, видеть, появилась на Буйной, он заглянет попроведать меня, — и все, замечаю, стоит перед портретом Версуса, стоит и молчит, стоит и молчит. Я и догадалась...

Геля вдруг сорвалась с места из-под руки Анны Петровны и встала у окна, хватаясь руками за грудь и за горло. Ее лицо, освещенное солнцем, быстро и нехорошо бледнело, а дрожащие губы наливались синевой. Анна Петровна с криком бросилась к Геле, стала обнимать ее, ласкать:

— Что с тобой, милая? Что с тобой?

— Не знаю, не знаю, — заговорила, заметалась Геля, едва-то справляясь со своим внезапным страданием. — Я нынче много волнуюсь. И ночью, и утром, и сейчас вот...

— Тебя мутит?

Геля подтвердила это кивком головы.

— Наверно, от волнения, — сказала жалобно, очевидно, очень боясь нового приступа. — Ведь так бывает, да?

— Знамо, бывает.

Но хотя Анна Петровна и согласилась с этим весьма охотно, смотрела она на Гелю с той особой мудрой женской адумчивостью, с какой она уже смотрела на нее украдкой, когда пили чай. Встретясь теперь с ее взглядом, Геля вдруг ася сжалась от нестерпимого озноба и ужаса.

— Да ты сядь, сядь! — закричала Анна Петровна.

Но Геля, шатаясь, пошла вон из горенки.

— И правда, давай-ка, милая, на крылечко, давай-ка на свежий воздух, давай, давай... — торопясь за Гелей, шепотком приговаривала Анна Петровна. — И что такое приключилось? Вот напасть-то! Ну, а раньше-то случалось так с тобой?

— Нет, нет, — торопясь, ответила Геля. — Нет, не случалось.

Но Геля лгала Анне Петровне. По молодости и неопытности она не умела следить за собою, а вот теперь, когда спросила ее Анна Петровна, ей немедленно вспомнилось, что в последние недели случались, и не однажды, вот такие приступы тошноты. Но каждый раз у Гели находились самые различные объяснения случаям такого недуга, и потому они не оставили в ее памяти заметного следа. Встреча с Анной Петровной, с ее проникновенным женским взглядом будто озарила Гелю, и она впервые поняла, как должно понимать, отчего происходят с нею разные непонятные перемены и отклонения в ее девичьей жизни. Но сейчас она не могла не лгать... «Боже мой! Боже мой! — кричала Геля самой себе. — Неужели это случилось? Неужели? Да что я спрашиваю! Что гадаю! Я ведь все знаю, все!» Распахнув одни двери, другие, третьи, она выбежала на низенькое крылечко, потом во дворик и, добежав до сети, ухватившись за нее, опрокинулась навзничь...

Вечером, вскоре после возвращения из деревни, Арсений Морошка позвал в прорабскую Демида Назарыча, Володю Полетаева и всех парней, составивших ядро прорабства. И как только все собрались, предупредил:

— Только без шума.

— Что с нею? — кивая в сторону комнатухи, где лежала Геля, спросил Демида Назарыч, не ездивший в деревню, а охотившийся за хариусами по Медвежьей.

— Неудорова, — ответил Морошка уклончиво.

— Тогда, может, в другом месте соберется? — А где?

Расстелив на столе свою рабочую карту, Арсений Морошка показал друзьям, какая прорезь, согласно договоренности с Завьяловым, должна быть пробита в средней части шиверы...

...Геля лежала в постели и рассеянно слушала негромкий разговор парней за перегородкой. Обидно было Геле, что в то время, когда на Буйной начинается самая горячая работа, ей приходится заботиться лишь о себе. Несмотря ни на что, у нее оставалась еще какая-то надежда, и она решила, как это ни страш-

но было, побывать у врача. Теперь она думала только о том, как заговорить с Морошкой о поездке в Железновое.

Она не слышала, как ушли парни из прорабской, и очнулась тогда, когда к ней вошел Морошка. Он знал, что с Гелей в деревне было дурно. Геля сама сказала ему о случившемся, а объяснила все тем, что перед поездкой в деревню переутомилась и много нервничала. И Морошка, как только они вернулись на Буйную, заставил ее лечь в постель.

— Ты усни, успокойся и завтра будешь здорова, — сказал ей сейчас Морошка, тыльной стороной ладони ощупывая ее лоб.

— Не знаю, — ответила Геля с сомнением, боясь, что ей не удастся заговорить о поездке в Железновое.

Но ее сомнение, казалось, немедленно помогло Морошке догадаться, в каком затруднении находится сейчас Геля, и он добавил:

— Если же и завтра будешь чувствовать себя плохо, я отправлю тебя в Железновое.

— Мешков-то я много нашла, — сказала Геля.

— Спи и ни о чем не думай.

И как только вопрос о поездке в Железновое разрешился, да еще так легко, Геля быстро успокоилась и уснула, как в детстве, крепко, безмятежно и сладостно. Утром она поднялась позднее обычного и, чувствуя себя окрепшей и бодрой, поела варенья с хлебом и отправилась на берег.

Никогда еще, даже во время разгрузки баржи, в запретной зоне не собралось так много людей, как собралось в это утро. Работа уже шла полным ходом. От склада к берегу — под уклон — выставляли, скрепляя железными скобами, дорожку из плах, по которой должны спускаться на тележке тяжелые ящики с порохом. А пока их таскали к берегу на носилках. На одной из спаровок уже готовили первый заряд. Володя Полетаев, руководивший работами на берегу, носился туда-сюда с вытаращенными глазами и потным чубом, а Морошка уже клал с «Отважного» якорь на шивере.

В запретной зоне сегодня работали не только парни, как обычно, но и несколько женщин с земснарядом. Недолго думая, Геля схватила ведро и стала таскать порох на спаровку. За несколько минут она разгорелась на работе и на время даже позабыла, что ей все-таки надо собираться в Железновое.

Геля долго бродила вдоль ограды, за которой среди небольшой рощицы, уцелевшей от тайги, стояли недавно выстроенные здания амбулатории и больницы. Она никак не могла решиться войти в калитку, куда шли и шли больные. Ей казалось, что стоит только войти под сень рощицы, ступить на крыльцо амбулатории — и все пропало.

Тот час, пока Геля сидела в приемной врача, ожидая своей очереди, сжимаясь в комочек от любопытных и грустных взглядов пожилых женщин, показался ей черной вечностью. Сто раз она то бледнела, да так, что краше в гроб кладут, то до ключиц заливалась алой кровью. И все время судорожно держалась за стул, боясь упасть перед дверью, за которой изредка слышался голос врача. Ей ни за что не вынести бы всех мук перед дверью врача, не надеясь она на чудо.

Но стоило ей увидеть молодого врача в белоснежном халате, кушетку, покрытую розовой клеенкой, странное высокое кресло, и Геля мгновенно поняла, что чудес не бывает. Не могло быть никакой ошибки, если она нашла силы побороть свой нестерпимо жгучий стыд и прийти сюда...

Очень молодой врач, старающийся казаться старше своих лет, был серьезен и хмурил густые черные брови. Когда он заговорил с Гелей, она оглохла от стыда и позора. Он еще раз заговорил с нею, повторяя свои вопросы, и посмотрел на Гелю строго и осуждающе, а Геля, так и не расслышав ни одного слова, отступила на шаг, собиравшись бежать из кабинета. Но ее вовремя подхватили руки пожилой сестры, и, когда Геля почувствовала, как удерживают ее ласковые женские руки, у нее вдруг враз вылилась из ушей вода. И она услышала голос сестры:

— Садись, милая, садись...

Геля все уже было безразлично, и на все она соглашалась теперь покорно. Она считала, что это наказание врача — вполне заслуженное ею наказание и его надо снести достойно. Она спокойно и мужественно покорялась врачу, и, когда было установлено то, что для нее и так было очевидным, она поняла: за несколько минут в кабинете врача она прожила больше, чем за всю свою жизнь, и выйдет отсюда совсем другой женщиной...

Так это и было.

Она не могла сейчас же показаться на люди и потому, выйдя от врача, направилась не в сторону калитки, а в глубину безлюдной рощицы, служившей парком больницы. Рощица была расписана вилюющими дорожками, у которых там и сам стояли разноцветные скамейки.

Геля посидела с минутку на одной из скамеек, потом перешла к другой и, наконец, окончательно устроилась лишь на третьей... Медленно, очень медленно сходилась кровь с ее лица. «Что же делать? Как быть? — и сто и тысячу раз повторялась Геля у себя, прижимая руки к груди, не давая себе закричать на все Железное. — Как я покажусь ему на глаза? Что скажу ему? Да лучше мне провалиться сквозь землю!» Теперь Геля уже не думала о своем положении. Все ясно. Она не думала и о будущем ребенке: еще не настало то время, когда она должна была почувствовать себя матерью. Думала Геля лишь об одном Морозке. Она считала, что со всем, что связало ее с Морозкой, отныне покончено. И покончено навсегда. Да так, будто она никогда и не встречалась с Морозкой.

В последние дни Геля уже определенно знала, что те сложные, непонятные, мучительные чувства, какие вызывал в ней Арсений Морозка, и есть ее первая любовь. И все же она недостаточно ясно понимала, что случилось в ее жизни. И только сейчас, на скамейке в больничном парке Железного, наверно зная, что она теряет Морозку навсегда, Геля отчетливо поняла, как он дорог ей и какое место успел занять в ее душе. Она могла потерять сейчас все, кроме матери, и не охнула бы, но потерять Морозку для нее было страшнее смерти. «Что я скажу ему, когда он встретит меня и взглянет мне в глаза? Обманывать? А зачем? Все кончено...» — думала Геля. — Нет, я должна сразу же сказать ему всю правду, как только встречу с ним на Буйной. Сказать — и уехать. Но как сказать? Как он встретит мои слова? Я не могу видеть, как он будет страдать... Нет, лучше и не возвращаться на Буйную! Зачем встречаться? На одно мучение? И для меня и для него... Надо пойти на пристань и немедленно уехать домой, к маме, а ему написать письмо.

Занятая своей бедой, Геля и не заметила, как на дорожках стали появляться больные в полосатых пижамах: в больнице закончился обход врачей. Словзатислась она, да поздно. Двое больных уже приблизились к ее скамейке, и один из них шел, опираясь на костыль и едва касаясь правой ногой земли. Геля вскопчила со скамейки, но тут же, обессилев, вновь опустилась на ее край.

— Геля! — останавливаясь, закричал Белявский. — Ты здесь? Ты ко мне! Геля, милая, да какал же ты умица!

Последние сутки Геля была так занята собой, что ей даже и не подумалось о возможной встрече с Белявским в Железное. Собранный с силами, она поднялась со скамейки и ответила сухим, дрожащим голосом:

— Я не к тебе...

— Неправда, ко мне! — воскликнул Белявский.

— Ты все такой же...

— Но зачем же ты сюда?

— Не твоё дело.

И только сказав все это второпях, Геля догадалась, что она выдала себя своей прямоотой. На лице Белявского, обрастающем густой черной бородкой, измазанном зеленкой, отчего оно изменилось до неузнаваемости, вдруг появилась странная гримаса, отдаленно напоминающая улыбку удивления и радости. Зачем-то быстро соображая, Белявский шагнул к Геле с протянутой рукой:

— Геля, Геля!

— Уйди, подлец! — крикнула Геля, стараясь отвлечь Белявского от своих мыслей. — Не подходи!

В БОРЬБЕ ЗА ЛУЧШУЮ ЖИЗНЬ



«Жизнь — это борьба за лучшую жизнь», — задумчиво говорит молодая художница, и парторг завода горячо отвечает ей: «Да! Жизнь — это борьба за коммунизм!»

Этим диалогом заканчивается пьеса «Глина и фарфор», за которую ее автор, латышский писатель Арвид Петрович Григулис, в 1948 году был удостоен Государственной премии.

Призывом к борьбе за лучшую жизнь проникнуты многие произведения писателя. Еще в 30-е годы Рабочий театр Риги поставил первую пьесу Арвида Григулиса, «Окно, выходящее на предместье» — о жизни К. Маркса и Ф. Энгельса.

Родившийся 12 октября 1906 года в семье землеметного крестьянина, в течение нескольких лет работавший мелким почтовым служащим, Григулис с самого начала своего творческого пути на стороне обездоленных. Стремлением к правде и человечности дышат первые сборники его стихов.

В августе 1941 года Арвид Григулис вступил добровольцем в ряды Красной Армии, был военным корреспондентом фронтовой газеты «Латышский стрелок». Во время войны вышел сборник его стихов «Земляника», затем книга рассказов «Сквозь огонь и воду» — яркое художественное свидетельство героического боевого пути Латышской дивизии.

Послевоенное творчество Григулиса разнообразно по жанрам и тематике. Одна за другой появляются его острые сатирические пьесы, рассказы и повести для детей и юношества, литературно-критические статьи о творчестве латышских писателей.

Заслуженному деятелю культуры Латвийской ССР, поэту, прозаику, драматургу и критику Арвиду Петровичу Григулису исполнилось 60 лет. Сердечно поздравляя юбиляра, желаем ему многих лет здоровья и плодотворного творческого труда.

Н. ГЕОРГНЕВА

Но Белявский подходил смело.

— Геля, успокойся...

Тогда Геля ухватила его обеими руками за грудь Белявского и, притянув его к себе, прокричала ему в лицо сквозь слезы:

— Ты мне всю жизнь... всю жизнь... Подлец ты!

Разгорячась, она начала хлестать его по лицу, которое ненавидела теперь больше всего на свете. Ее пощечины звучали на весь больничный парк, а Борис Белявский стоял, покачиваясь то вправо, то влево, совершенно не собираясь защищаться, весело улыбаясь и ласково прося:

— Геля, Геля, тише ты...

И оттого, что Белявский улыбался в эти секунды, Геля хлестала его без памяти, так и сляк, пока совсем не отнялись руки...

Потом, испугавшись шума, она опрометью бросилась из парка, а Белявский, прыгая на одной ноге, взмахивая костылем, кинулся за ней вслед.

— Геля, Геля, обожди! — выкрикивал он во все горло. — Я скоро приеду, жди! Я все знаю!

Отстав от Гели, Белявский, тяжело дыша, присел на скамейку и стал ощупывать ногу. Вскоре к нему подошел приятель по палате, заинтересовался с усмешкой:

— Это кто же тебя так облажал?

— Жена, — счастливо улыбаясь, ответил Белявский.

— Проводившая приезжала?

— Точно.

— За что же она тебя?

— Известно, ревнует.

— Все они из одного теста...

Поняв, что Белявский догадался, зачем она приезжала в Железное, Геля окончательно решила бежать, бежать немедленно, даже на время не появляясь на Буйной. Геля понимала, что Белявский может нагрянуть на шивере в любой день, хоть завтра, и тогда непременно откроется ее тайна.

От больничной калитки Геля напрямик направилась на пристань: надо было узнать, когда будет сверху пассажирский теплоход, на котором она могла бы добраться до Стрелки — пристани на Енисее. Геля поднялась на дебаркадер и стала осторожно заглядывать в разные двери, нища людей, у которых можно узнать про теплоход. Но везде было пусто, и Геля по одному этому догадалась, что теплоход прибудет не скоро. «Теперь все на самолетах летают», — подумала Геля. — Да и мне можно лететь до Красноярска, а там на поезде... Она уже сходилась на берег, чтобы отправиться в аэропорт, когда ей встретилась знакомая девушка — повариха Ася, с того самого теплохода, на котором Геля бежала недавно из поселка у порога. Ася обрадовалась встрече, затащила Гелю на теплоход, стала угощать и рассказывать, как живут ее подруж-

ки, с которыми она приехала в ангарский край.

— А зря ты махнула из поселка, — пожалела Ася, исчерпав все свои новости. — О тебе там ни одного плохого слова. Все вспоминают тебя и жалеют, что уехала. А знаешь что? Давай обратно! Мы тебя увезли — мы и привезем!

— Что ты! — слабо возразила Геля.

— Может, ты этого... своего... боишься? — спросила Ася. — Так его давно и след простыл! Пожил после тебя немного и куда-то укатил. Стодно было показываться на люди. А тебя там и девочки и парни ждут.

— Мне домой надо, — сказала Геля. — К матери.

— Зовет? Ну, что ж, доставим до Стрелки, а там на «ракете».

— А когда поедете?

— Завтра утром. Ты обделывай свои дела и к вечеру приходи. Собрется вся команда, вместе поужинаем и заночуем.

Все улаживалось как нельзя лучше.

С пристани Геля отправилась в контору стройуправления, которая находилась за речкой Теплой, на западной окраине Железного. Там она написала заявление об увольнении, но Родыгина не оказалось на месте. Она ждала его часа три, а он, не заходя в контору, отправился на радиоузел: начинался очередной сеанс переговоров с прорабствами. Геля знала, что Родыгин пробудет на рации до конца рабочего дня, и потому не могла ждать. Ничего, рассудила Геля, найдется у Родыгина для нее одна-то минутка...

У слегка приоткрытой двери радиорубки Геля придержалась, чтобы получить собраться с духом, и вдруг услышала низкий, басовитый голос Арсения Морозки. И Геле показалось, что голос Морозки оглушил ее, как шум ангарской стремнины в пороге. Она никак не могла, сколько ни силилась, разобрать его слова — они сливались в единый поток, от которого легко шумело в голове. «Да что я делаю! — в смятении думала Геля. — Разве я могу бежать? Чтобы он мучился, гадая, почему я сбегала? Разве он заслужил это? Я должна явиться и рассказать ему все откровенно — и только тогда уехать. И еще я должна... последний раз взглянуть на него...» И как только утих поток голоса Морозки, Геля, осторожно ступая, отошла от двери радиорубки.

Возвратясь на Буйную, Геля намеревалась заговорить с Морозкой о своем положении, едва ступит на берег. Но Морозка так был рад ее возвращению, что своей радостью смутил ее, когда она еще не успела сойти с катера. Пока клали трап, он вошел в реку, выхватил ее из катера и понес на сушу, не стесняясь людей. Он будто знал, что она собиралась бежать да раздумала, и был благодарен той силе, что победила и вернула Гелю на Буйную. Геля не могла заговорить с Морозкой в эти минуты о себе, а потом, упустив заранее назначенный срок, она еще более растерялась, да так и смолчала в тот день...



Николай ГРИБАЧЕВ

Беги, ручей, беги

Лето—тревога и радость моя

1
Июнь. Он сочен. Жарок. Зелен.
Лишась отдыха и сна,
Он подбирает сотни зелий
Для ягоды и для зерна.

Земные отворив истоки,
Где кости пахарей и прях,
Пускает в перегонку соки,
Преобразует тлен и прах.

Звенит пчелой. Капелью плачет.
Все утро без машин и прачек,
Из молний выписав кроссворд,
Стирает пыльный небосвод.

Он химик сам себе. И физик.
И полководец кос да вил.
Стрижей гоняет в синих высях,
Пушком пылит на сонный вир.

И я в нем новым чувством
полностью
И набираюсь новых сил.
И вдруг вздохну. И вдруг
опомнюсь:
Что я посеял? Что взрастил?

2
Июль — как вход в гудящий улей,
В нем звон, и скрип, и запах сот.
Он не в задумке, не в посуле,
А все, что есть, в поле несет.

И все вокруг, что день, тяжело,
Все зрелостью озарено:
На ветке плод раздался в теле,
Твердеет в колосе зерно.

И ночи вязче. Тише. Глуше.

И дольше небо жжет звезду.
И первые к рассвету груши
Негромко стучат в саду.

И вот уже, пофыркая бойко,
Комбайн ко ржи подносит нож.
Окончен рост. Пришла уборка.
Считай труды свои. Итожи!

И вот я с тихой грустью вижу,
Что меньше вырастил, чем мог.
А сумрак падает на крышу.
А соловей в садах замолк.

3
Ну, здравствуй, август.
И прохлада.
И в утро вспышки белых рос.
Листья березок непарадная
В последней службе на износ.

И очищение вод. И воздух,
Что свежим яблоком пропах.
И на последних зерновозах
Мельканье клетчатых рубах.

Ах, август, август! Ходит в людях
Такой бесхитростный рассказ,
Что в августе спокойней любят,
Но и надежней во сто раз.

А это знаешь, сколько стоит —
Когда спадает пестрота,
Когда не страсть слепая стонет,
А впрямь с душой душа спит?

Ну, так добра тебе. Удачи
В делах, в любви не напоказ,
Чтоб ты все трепетней, чем
дальше,
Светился в памяти у нас!

Пятистишия

Где был я — нет меня.
Где буду — также нет.
В исчерпанности всей
я посредине где-то,
Где мускул напряжен,
где чувство в плоть одето,
Где в зелени листья
горит вишневый цвет —
Последний знак весны,
переходящей в лето.

Судачить обо мне охотников
полно,
Но кто меня судить отважится
и вправду?

Я ел свой хлеб, и пил свое вино,
И малою своей причастен
к общей славе.
А что мое во мне —
так вам к чему оно?

«Дождь!» — горожанин
хмурится. «О, дождь!»
Я радуюсь. Чьей правды
выше проба?
Ему своих раскисших жал
подоше,
Я думаю, как посвежает рожь...
А дождь идет — мы ни при
чем тут оба!

Нет, в позу всепрощенца
становясь,
Не жди, что в жизни совершится
чудо.
Что оттепель безвременная?
Грязь,
Всеобщий чих и детская
простуда.

Ее с присловьем
«Ишь, как развезло!»
Равно ругают город и село.
И не калош и не ботинок
жаль им,
Жаль: снова плохо будет
с урожаем.

* * *

Вскипело море. Движутся вали.
Из мглы во мглу летят —
во мглу из мглы.
Ужель и мы, похожие на них,
Живем лишь миг
и видимы лишь миг
И, покачав на гребнях
краткий свет,

Лишь зыбкой пеной
обозначим след?
Но если даже так —
ну так и что ж?
Лети вперед, живи,
пока живешь.
Есть хуже доля, горший вид
беды —
Стать на болоте лужицей воды.

Ручью

Не жалуйся на трудный путь,
ручей,
На тень ветвей,
на темноту ночей,
На то, что лоси пьют, что садовод
Для яблонь воду
у тебя берет,
Что кто-то камнем расплескал
круги —

Не жалуйся.
Спеши, ручей, беги!
Вот если остановишься — беда.
Под ряской скиснет
темная вода.
И посреди куги и камыша,
Окончив бег,
умрет твоя душа!

В брянском лесу

В брянском лесу тишина,
тишина,
В брянском краю оттремела война,
И над могилами тех, что
мертвы,
Желтое солнце стекает с листьев.
В брянском лесу тишина,
тишина,

Что предвещает на завтра она:
Теплые росы, грозу от реки?
Вы пострадались, мои земляки.
Вы пострадались,
и счастьем пора
С нашего больше не бегать двора.
Пусть наградится ваш подвиг
сполна!
В брянском лесу тишина, тишина.

Лжем

Не лжет природа. Мы ей лжем,
Когда, торя пути кривые,
Приходим в чащи вековые
С машиной, с топором, с ножом.
Приходим, чтоб убить ее
И новой бойне научиться,

Забыв, что наше бытие —
Лишь бытия ее частица.
«Потом вернем!» — клянемся мы,
Но клятве той не верим сами.
И под зарю блещут слезами
Опустошенные холмы.



А. Рефренко. ДЕТАЛЬ РОСПИСИ В КЛИНИКЕ МАЙО.



А. Рефрежье. ДРУЗЬЯ. 1966.



ПОДЖИГАТЕЛИ ЦЕРКВЕЙ.
1966.



ОКНО. 1961.

Кубок «Огонька» снова в 387-й

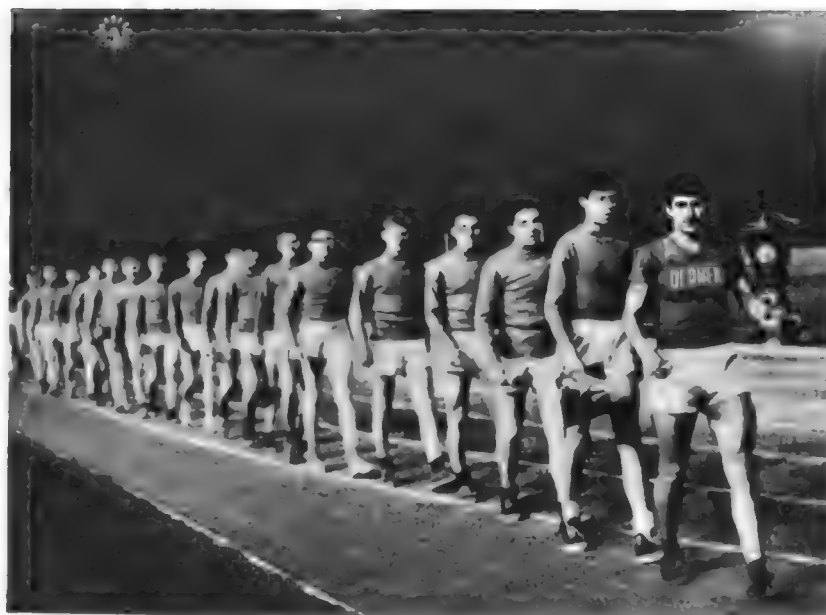
Юные легкоатлеты московской 387-й школы подружались с переходящим кубком «Огонька» еще в 1958 году, когда он был учрежден. Приз для самых быстрых, выносливых, ловких в первый же год своего существования был прописан в 387-й школе, а затем остался там навсегда. (По статуту розыгрыша приза команда, завоевавшая его дважды подряд, сохраняет у себя кубок.)

Судьба нового кубка «Огонька» оказалась сложнее. Сперва его обладателями стали легкоатлеты школы № 12, затем победу снова одержала команда школы № 387, но в следующие два года кубком владели ребята из 298-й школы, и редакции пришлось заказывать третий экземпляр своего приза.

Новый тур борьбы за кубок, начатый в прошлом сезоне, закончился новой победой юных легкоатлетов 387-й школы. И вот на днях ребята из Сокольникова в пятый раз добились успеха. Завоевав второй раз подряд кубок «Огонька», молодые спортсмены, ученики преподавателя Л. М. Федорова, снова навеки получили кубок «Огонька». Второе место завоевала сильная команда школы № 711.

12 октября на стадионе имени В. И. Ленина, после футбольного матча «Торпедо» — «Интернационала», кубок был торжественно вручен победителям.

Фото А. Бочинина.



ШАХМАТНАЯ ОЛИМПИАДА БЕРЕТ СТАРТ

ИНТЕРВЬЮ ФОЛЬКЕ РОГАРДА, ПРЕЗИДЕНТА ФИДЕ, ЖУРНАЛУ «ОГОНЕК»

25 октября на Кубе начинается XVII шахматная Олимпиада. В сборную команду Советского Союза входят чемпион мира Тигран Петросян, гроссмейстеры Борис Спасский, Михаил Таль, Леонид Штейн, Виктор Корчной и Лев Полугаевский. Команда-победительница получит звание чемпиона мира и переходящий приз — золотой кубок ФИДЕ. Накануне Олимпиады журналист Юрий Зарубин обратился к президенту Международной Шахматной Федерации (ФИДЕ) г-ну Фольке Рогарду (Швеция) и попросил рассказать о предстоящем соревновании.

— Шахматные Олимпиады — командные первенства мира — это соревнования, в которых с наибольшей полнотой воплощаются идеи международного сотрудничества, лежащие в основе деятельности ФИДЕ. — говорит г-н Рогард. — В Олимпиадах выступали все чемпионы мира, начиная с Х. Р. Капабланки, а также виднейшие современные гроссмейстеры и мастера. Первая Олимпиада состоялась 39 лет назад в Лондоне. В ней участвовали шестнадцать стран. Победителем стала команда Венгрии, которую возглавлял гроссмейстер Мароци. До 1939 года было проведено восемь Олимпиад. Первая послевоенная Олимпиада была проведена в югославском городе Дубровник в 1950 году. Победу одержали хозяева поля.

С 1952 года в Олимпиадах начала участвовать команда Советского Союза. Это оказалось большим событием в международной шахматной жизни. Сборная СССР сразу же стала одним из основных претендентов на звание чемпиона мира. Она добивалась этого почетного титула шесть раз.

— Г-н президент, расскажите, пожалуйста, подробнее о характере борьбы на Олимпиадах.

— Соревнования проводятся один раз в два года. Каждая страна-участница выставляет команду из четырех шахматистов и может иметь двух запасных. Поскольку регламент турнира достаточно жесткий и напряженный — каждый день приходится играть новый матч, — роль запасных ничуть не скромнее роли остальных игроков.

В последние годы быстро растет популярность Олимпиад и увеличивается число участвующих в них стран. Поэтому борьба проходит в два этапа. Звание чемпиона мира определяется в главном финале, куда попадают победители трех-четырех полуфинальных турниров. Остальные места разыгрываются в двух классификационных турнирах.

— Сколько команд придет на Кубу, чтобы участвовать в XVII Олимпиаде?

— Я жду около пятидесяти стран. Они будут представлять Европу, Азию, Африку, Австралию, Северную и Южную Америку.

Нет возможности перечислять все команды, скажу только, что наряду с известными в шахматном отношении странами придет свои сборные и ряд развивающихся государств, недавно вступивших в ФИДЕ.

— Известно, что правительство США строго ограничивает въезд американцев на Кубу. Ожи-

Отель «Гавана-Либре», где будет проходить шахматная Олимпиада.



дается ли в такой ситуации участие команды Соединенных Штатов?

— Я вступил в контакт с соответствующими американскими государственными организациями в Вашингтоне и хотя не имею пока окончательного ответа, но считаю, что вопрос может быть решен положительно. Участие команды США, в составе которой могут играть такие выдающиеся современные шахматисты, как Роберт Фишер и Самуэль Решевский, представляет значительный интерес.

— Господин Рогард, а как подготовились организаторы Олимпиады к проведению такого выдающегося форума шахматистов?

— Шахматная Федерация Кубы имеет опыт проведения больших соревнований. В последние годы стали традиционными мемориалы Капабланки. Сейчас подготовительная работа уже закончилась. Правительство Кубы придает успешному проведению Олимпиады большое значение. В почетный организационный комитет входит премьер-министр доктор Фидель Кастро.

П. Е. Ревунова-Корж

Коллектив редакции журнала «Огонек» понес тяжелую утрату: после продолжительной болезни скончалась Прасковья Емельяновна РЕВУНОВА-КОРЖ. Последние пятнадцать лет ее жизни были отданы работе в «Огоньке».

Райком комсомола, военный госпиталь в годы Великой Отечественной войны, журналист военной печати, с 1951 года сотрудник «Огонька» — таков ее трудовой путь. Огоньковцы никогда не забудут чудесного человека, скромного и честного работника, товарища и друга Прасковью Емельяновну Ревунову-Корж.



Фото Л. Бородулина.

У входа на тульский стадион висит доска, поделенная на три части с надписями наверху: «Футбол», «Баскетбол», «Вело». И во всех трех отсеках под всеми тремя надписями три одинаковых афиши: все-союзные молодежные соревнования по велосипедному спорту на трене.

Толпа нетерпеливо рвется и кассам, со всех сторон тянутся и ошощеку руки, но кассирша сообщает: «Граждане, не стойте. Билетов всем не хватит».

Ни один футбольный матч не собирается в Туле такого множества зрителей, как велосипедные гонки. Тульский трен — главный трен страны. В этом сезоне здесь выступали французские гонщики — чемпион мира Даниэль Морелон и серебряный спринтер Пьер Трантен, соревновались велосипедисты стран народной демократии, а затем прошли все-союзные молодежные соревнования. Однако не о соревнованиях пойдет наш рассказ.

Мы побывали на знаменитом трене в обычный будний день, когда на его дорожках не кипела борьба, а трибуны не заполняли зрители. На трене шли обычные тренировки. Ничего интересного, но трибуны все равно не пустовали. Взгляните. Вот они, тульские болельщики. Их интересует неужли велосипедного спорта, они внимательно следят за тем, как идет тренировка (1).

Вы видите родителей молодого гонщика Коли Быбина. На правда ли, снимок напоминает сюжет картины «Опять двойка»? (2).

Есть на тульском трене так называемый пятый ярус. Здесь восседают самые почетные ценители велосипедного искусства. Многие годы они связаны с любимым спортом, а глава ложи знатоков — Петр Васильевич Полянов (третий слева).

— Я еще молодым Суханова и Соловьева знал, — вспоминает Петр Васильевич, — вот были гонщики! (3).

Теперь знаменитый русский велосипедист Константин Суханов перешел с трена в пятый ярус, а вот Дмитрия Александровича Соловьева и сейчас можно встретить внизу, на трене. Несмотря на то, что ему под семьдесят, ветеран и по сей день тренирует молодежь. Среди его учеников были такие гонщики, как Борис Савостин, Борис Романов, Владимир Леонов, пятинратная чемпионка мира Галина Ермилкина.

— Осторожно, соловьевские ураганы! — разносится по трену весть. И все, кто в это время найдет по бетонному эллипсу, прижимаются к бровке: того и гляди, пролетит мимо, едва не задев плечом, какой-нибудь из питомцев Соловьева-старшего (4).

Встретились мы на трене и с Соловьевым-младшим, Вячеславом. Он директор тульского трена и один из лучших стартеров (5).

И вспомнился нам в Туле московский трен. Стоит он пустой, обнесенный надежной стеной, запертый на всякие замки. А ведь было время, когда велогонщики Москвы на равных соперничали с туляками. Теперь все изменилось: трен есть, а хорошие гонщики наперечет, да и болельщиков становится все меньше и меньше. На все-союзных молодежных соревнованиях в строю участников тульское было почти в три раза больше, чем московской. У флага чемпионы, опять же туляки (6).

Бориса Романова, о котором мы уже писали выше, ученика Дмитрия Александровича Соловьева, можно назвать самым ярким представителем тульской спринтерской школы. Сейчас его затмил Омар Пхакадзе, но Романов не сдастся, тренируется сам и готовит смену... Через несколько минут его подшефная Валентина Лифанова станет чемпионкой страны в гите на 500 метров (7).

Так живет тульский трен. На нем всегда кипит жизнь — и в будни и в праздники. На его трибунах всегда можно встретить заинтересованных зрителей. Туляки с нетерпением ждут соревнований, того волнующего момента, когда прогремит выстрел директора стадиона Вячеслава Соловьева и по бетонному эллипсу помчатся гонщики (8).

НИКОГДА НЕ ПУСТУЕТ



1



2



3



4



5



7



8





МЕТРЭ и СТАРАЯ ДАМА

Роман

Жорж СИМЕНОН

Рисунки П. ПИНКИСЕВИЧА.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ВЛАДЕЛИЦА «ГНЕЗДЫШКА»

Со скорого поезда Париж — Гавр он сошел на унылой станции Брентз-Бэзилль. Для этого пришлось подняться в пять утра, когда такси на парижских улицах не поймать, и добираться до Сен-Лазарского вокзала первым поездом метро. Теперь ему еще предстояла пересадка.

— Скажите, пожалуйста, когда отходит поезд на Этрета?

Часы показывали начало девятого. День давно уже наступил, но здесь из-за сырости и дождя казалось, что только светает.

При станции не было ни ресторана, ни буфета, и лишь по другую сторону дороги виделось некое подобие закусочной, возле которой стояли фургоны торговцев снотом.

— На Этрета? Еще не скоро. Вон где ваш поезд.

Ему указали на стоявшие далеко от платформ вагоны без паровоза, допотопные ваго-

ны зеленого, теперь уже непривычного цвета. За стеклами вагонных окон можно было разглядеть неподвижные фигуры нескольких пассажиров, которые, казалось, торчали там со вчерашнего дня. Выглядело все это несерьезно, что-то было в этом от мира игрушек, от детских рисунков.

Целое семейство — несомненно, парижане! — бог знает почему мчалось во весь дух, перепрыгивая через рельсы, к этому составу без паровоза. Трое ребятнишек держали в руках сачки для креветок.

Это и переключило его на иной лад. На мгновение Метрэ забыл о своем возрасте, ему почудился запах моря, хотя до него было добрых двадцать километров; ему послышался даже размеренный шум прибоя... Он поднял голову и не без почтения посмотрел на серые тучи, плывшие, вероятно, с морского простора.

Он ведь родился и вырос вдали от моря. В его сознании море всегда оставалось таким: сачки для креветок, игрушечные поезда, мужичины в мягких фланелевых штанах, пляжные зонтики, продавцы ракушек и сувениров, маленькие быстро, где устрицы заправляют белым вином, семейные пансионаты с одинаковым и неповторимым запахом. Обычно мадам Метрэ

уже через несколько дней становилось не по себе в этих пансионатах, она томилась от безделья и охотно стала бы помогать мыть посуду на кухне.

Он, конечно, понимал, как призрачны эти ощущения. Но каждый раз, приближаясь к морю, помню воли опять погружался в этот игрушечный мир, где, казалось, ничего серьезного и произойти не может.

За время службы ему не раз приходилось вести следствие на побережье. Случались там и настоящие драмы. Но и теперь, попав в закусочную, он чуть было не улыбнулся, вспомнив о старой даме по имени Валентина и ее приемном сыне, которого зовут Бессон.

Уже начался сентябрь. Среда, шестое число. В этом году опять не удалось побывать в отпуске.

...Нанануне, около одиннадцати часов, старый приятник вошел в его кабинет на набережной Орфевр и протянул визитную карточку с черной каймой:

Вдова Фернана Бессона. Вилла «Гнездышко». Этрета.

— Она хочет видеть меня лично?

— Да. И действительно просит вас уделить ей хотя бы минуту. Утверждает, что специально приехала из Этрета.

— Как она выглядит?

— Это старая дама. Очаровательная старая дама.

Он велел впустить ее. И действительно, вошла обаятельная пожилая дама, какую можно лишь вообразить. Изящная, миниатюрная, с нежным румянцем и белоснежными волосами, она была так моложава и грациозна, что походила скорее на юную актрису, играющую роль пожилой маркизы.

— Вероятно, вы меня не знаете, господин комиссар. Поэтому я еще больше ценю вашу любезность. Я же, напротив, много лет знаю вас по отчетам о потрясающих преступлениях, которые вам удавалось раскрыть. Если вы приедете ко мне, а я на это надеюсь, я покажу вам целую кипу газетных вырезок, где говорится о вас.

— Благодарю вас.

— Меня зовут Валентина Бессон. Это имя, конечно, вам ничего не говорит. Но вы, вероятно, поймете, кто я, если я добавлю, что мой муж Фернан Бессон был создателем косметического крема «Жюва».

В своем достаточно солидном возрасте Метрэ не мог не знать слова «Жюва». Совсем еще молодым он встречал его в газетных объявлениях и на рекламных планшетах и теперь, кажется, припоминал даже, что его мамаша пользовалась кремом «Жюва» в дни, когда надевала самые нарядные платья.

Сидящая перед ним пожилая дама была одета с изысканной элегантностью, только обилие драгоценностей делало ее туалет чуть старомодным.

— Мой муж умер пять лет назад, и с того времени я живу одна в своем доме в Этрета. Точнее, до прошлого воскресенья со мной жила еще служанка, местная девушка, работавшая у меня несколько лет. В ночь с воскресенья на понедельник, господин комиссар, она умерла — некоторым образом вместо меня. Именно поэтому я и приехала к вам умолять о помощи.

Говорила она спокойно и лишь тонкой улыбкой словно извинялась, что ей приходится рассказывать о столь трагических вещах.

— Я не сумасшедшая, не пугайтесь, и не сумасбродная старуха. Когда я говорю, что Роза — так звали мою служанку — умерла вместо меня, я почти уверена, что не ошибаюсь. Позвольте мне в нескольких словах рассказать о том, что произошло.

— Прошу вас.

— Я плохо сплю и вот уже двадцать лет каждый вечер принимаю снотворное — довольно горькую микстуру с сильным привкусом аниса. Я говорю об этом со знанием дела, так как мой муж был фармацевтом.

В воскресенье перед сном, как и в другие вечера, я налила снотворное в стакан. Роза была подле меня, когда я уже лежала в постели, собиралась выпить лекарство. Отпила глоток, и мне показалось, что на этот раз оно горчит больше обычного.

«Наверно, я налила больше двенадцати капель, Роза. Сегодня я не стану его пить». «Спокойной ночи, мадам», — сказала она и, как обычно, унесла стакан. Как знать, она только попробовала его из любопытства или выпила до дна? Вероятнее всего последнее: пустой стакан нашли в ее комнате.

Около двух часов ночи меня разбудили стоны, мой дом невелик. Я поднялась и, выйдя из спальни, встретила свою дочь, которая тоже была на ногах...

— Я полагаю, что вы живете только со служанкой?

— В то воскресенье, третьего сентября, был день моего рождения, и дочь, приехавшая из Парижа навестить меня, осталась переночевать.

Не стану отнимать у вас время, господин комиссар. Розу мы нашли при смерти в ее постели. Моя дочь бросилась вызывать доктора Жюльена, но, когда он приехал, Роза уже умерла после обычных в подобных случаях судорог. Врач, не колеблясь, определил, что она отравлена мышьяком.

Она была не из тех девушек, которые кончают с собой, ела она то же, что и мы. Стало быть, яд почти наверняка находился в предназначенном мне лекарстве...

— Вы подозреваете кого-нибудь в попытке убить вас?

— Кого я могу подозревать? Доктор Жюлли, мой давний друг, лечивший еще моего мужа, позвонил в полицию Гавра, и в понедельник утром к нам прибыл инспектор.

— Как его зовут?

— Инспектор Кастэн. Краснощечный мужчина, брюнет.

— Я знаю его. Что же он говорит?

— Ничего. Опрашивает местных жителей. Тело же отправили в Гавр для вскрытия...

Ее прервал телефонный звонок. Мегрэ взял трубку. Звонил директор сыскальной полиции.

— Поднимитесь ко мне на минутку, Мегрэ!

— Сейчас?

— Да. Если можно.

Он извинился перед старой дамой: его вызывает шеф.

— Вас не соблазнила бы перспектива провести несколько дней на море? — спросил Мегрэ директор.

Мегрэ ответил наугад:

— В Этрета?

— Вы уже в курсе?

— Не знаю. Расскажите подробнее.

— Только что мне позвонили из канцелярии министра. Вы знаете Шарля Бессона?

— Крэм «Юваса»?

— Не совсем так. Это его сын. Шарль Бессон живет в Фекане. Два года назад был избран депутатом от Нижней Сены.

— А мать его живет в Этрета?

— Не мать, а мачеха, она вторая жена его отца. Учтите, все то, о чем я вам говорю, мне только что сообщено по телефону. Шарль Бессон обратился к министру с просьбой, чтобы вы, хотя это и не входит в ваши служебные обязанности, согласились заняться одним делом в Этрета.

— Служанка его мачехи была отравлена в ночь с воскресенья на понедельник.

— Вы что, читаете нормандские газеты?

— Нет. Старая дама у меня в кабинете.

— И она тоже хочет, чтобы вы поехали в Этрета?

— Совершенно верно. Она специально приехала ко мне, из чего, пожалуй, можно заключить, что пасынок обратился к министру без ее ведома.

— Что же вы решили?

— Это зависит от вас, патрон...

Вот почему в среду утром, чуть позже половины десятого, Мегрэ сел на поезд на станции Брета-Базилья, в тот самый поезд, который назался ему игрушечным, и сразу выскочил в оношно, чтобы быстрее увидеть море.

По мере того как оно приближалось, небо светлело, и, когда поезд вынырнул из ложины между поросшими травой холмами, небо оказалось чистым, лишь несколько легких, прозрачных облачков висело в его голубизне.

Накануне Мегрэ позвонил в оперативную группу Гавра, чтобы там предупредили инспектора Кастэна о его приезде, но сейчас, на вокзале, он тщетно пытался отыскать его на платформе. Встречавшиеся много-много женщин в летних платьях и полуголые детишки оживляли перрон. Начальник станции, нерешительно оглядывавший прибывших, подошел наконец к комиссару.

— Вы случайно не комиссар Мегрэ?

— Случайно — да.

— У меня к вам письмо.

Он передал Мегрэ конверт. Инспектор Кастэн писал:

«Прошу прощения, что не встретил Вас. Сейчас я на похоронах в Ипоре. Рекомендую Вам остановиться в «Английской гостинице», где я надеюсь с Вами позавтракать. Там же я введу Вас в курс дела».

Было всего десять часов утра, и Мегрэ, прихвативший в дорогу лишь легкий чемодан, направился пешком к отелю, расположенному у самого пляжа.

Но, не заходя в отель, прямо с чемоданом, он пошел взглянуть на море, полюбоваться белыми скалами, возвышавшимися по обе стороны пляжа, усеянного галькой. Юноши, девушки резвились в волнах, другие играли в теннис за отелю, мамышки удобно устроились с вязаньем в шезлонгах, старички попарно прогуливались вдоль берега.

Еще школьником он помнил, как его сверстники каждый год возвращались с моря загорелыми, напичканными всевозможными историями, с карманками, полными ракушек. Сам же он впервые увидел море много позже, когда давно уже зарабатывал себе на жизнь.

Ему стало чуть грустно оттого, что он не испытывает больше знакомого волнения и уже равнодушно смотрит и на сверкающие гребешки, и на лодку, зарывающуюся в высокую волну, и на инструктора плаванья с голыми татуированными руками.

Запах отеля был настолько знакомым, что вдруг ему стало не хватать мадам Мегрэ: ведь этот запах они обычно вдыхали вместе.

— Вы надолго к нам? — спросили его в отеле.

— Еще не знаю.

— Я потому спрашиваю, что пятнадцатого сентября мы закрываемся, а сегодня уже шестое.

Да, все здесь закроется, как в театре: и юбки с сувенирами и кондитерские; на окнах появятся ставни, только море и чайни будут хозяйничать на пустынном берегу.

— Вы знаете мадам Бессон? — спросил он у администратора отеля.

— Валентину? Конечно, знаю. Она из этих мест, здесь родилась, здесь рыбачил ее отец. Я не знавал ее ребенком, она старше меня, но хорошо помню, как она работала продавщицей

в кондитерской сестер Сбэз. Одна из сестер умерла, другая еще жива, ей девяносто два года, она соседка Валентины. Это ее сад обнесен голубым забором. Заполните, пожалуйста, карточку для приезжих.

Прочтя карточку, администратор, — а может, это был сам хозяин — посмотрел на Мегрэ с нескрываемым интересом.

— Вы тот самый Мегрэ, из полиции? Специально ради этого дела приехали из Парижа?

— Инспектор Кастэн здесь остановился?

— Как вам сказать... Он с понедельника почти ежедневно обедает у нас, но каждый вечер возвращается в Гавр.

— Я иду его.

— Он на похоронах, в Ипоре.

— Да. Знаю.

— Вы полагаете, что что-то на самом деле пытался отравить Валентину?

— Я еще не успел узнать ничего определенного.

— Это могли сделать только ее родственники.

— Вы имеете в виду ее дочь?

— Я никого не имею в виду и ничего не знаю. Но в прошлом воскресенье в доме Валентины — она называет его «Гнездышко» — было много родственников. И я не представляю, кто бы из местных мог быть зол на Валентину. Столько добра сделала эта женщина при жизни мужа, когда у нее была средста! И даже сейчас она все раздает, хотя далеко не так богата. Мерзкая эта история, поверьте мне. Этрета всегда был спокойным местом. Сюда приезжают люди определенного круга, обычно семьями, я мог бы назвать вам...

Мегрэ предпочел пройти по залитым солнцем улицам. На площади перед мэрией он прочел надписи над белой витриной: «Кондитерская Морэн — бывшее заведение Сбэз».

У продавца он спросил, как пройти к «Гнездышку». Ему указали дорогу, извивающуюся по отлогому склону холма, у подножия которого несколько вилл утопало в садах. Он пошел в некотором отдалении от скрытого зеленого дома, из трубы которого медленно поднимался дымок и таил в бледной синеве неба.

Когда он вернулся в отель, инспектор Кастэн был уже там. Его маленькая черная «сымака» стояла у подъезда, а сам он ждал на лестнице.

— Хорошо доехали, господин комиссар? Очень сожалее, что не смог встретить вас на вокзале. Я решил, что бесполезно побывать на этих похоронах. Судя по всему, таков и ваш метод.

— И что же там было?

Они зашагали вдоль берега.

— Не знаю, что и сказать. Прошли похороны скорее плохо. Обстановка была напряженной. Тело девушки привезли из Гавра сегодня утром, и родные прямо со станции отвезли ее на грузовике в Ипор. Семейство Трошю! Вы еще услышите о них. Здесь полно этих Трошю, и почти все они рыбаки. Отец долгое время ловил сельдь в Фекане, тем же занят сейчас его два старших сына. Роза была старшей из дочерей. У них есть еще две или три дочери, одна из них живет в Гавре, работает в кафе.

У Кастэна были густые волосы, низкий лоб, он излагал свои мысли с такой упрямой медлительностью, словно тянул на себе плуг.

— В Гавре я уже шесть лет и исколесил всю округу. В здешних деревнях, особенно вблизи старых замков, встречаются еще смиренные люди, которые почтительно вспоминают своего барина. Есть и другие, более грубые, недоверчивые, иногда злобные. Я еще не знаю, и кажим из них отнеси Трошю, но сегодня на похоронах Валентину Бессон встретили холодно, почти враждебно.

— Меня только что убеждали, что она всеобщая любимица в Этрета.

— Но Ипор не Этрета. И Роза мертва.

— Значит, старуха была на похоронах?

— Как же, в первом ряду. Кто-то называет ее помещицей, возможно, потому, что у нее был когда-то замок где-то в Орне или в Саломе, уж не знаю точно. Вы видели ее?

— Она приезжала ко мне в Париж.

— Она говорила мне, что собирается в Париж, но я не знал, что она ездил к вам. Что вы можете сказать о ней?

— Пока ничего.

— Она была колоссально богата. Много лет у нее был в Париже свой особняк на авеню Иены, собственный замок, собственная яхта. А «Гнездышко» — это так, пристанище на всякий случай.

Она приезжала сюда в большом лимузине с шофером, а зади следовал другой автомобиль, с багажом. Все взгляды на нее во воскресенья, когда она отставала мессу в первом ряду (в церкви у нее всегда была своя скамья) и потом щедро раздавала милостыню. Если кому-нибудь приходилось туго, ему обычно советовали: «Ступай к Валентине». Многие, особенно среди пожилых, так и называли ее, по имени.

Сегодня утром она приехала в Ипор в такси и вышла из машины торжественно, как в прежние времена. Казалось, что это именно она руководит церемонией похорон. Ее огромный венок, конечно, затмил все остальные.

Возможно, я ошибаюсь, но мне показалось, что Трошю были раздражены и поглядывали на нее исподтишка. Она сошла своим долгим со всеми поздравлениями за руку. Отец не глядя, весьма неохотно протянул ей свою. А старший сын Анри просто повернулся к ней спиной.

— Дочь мадам Бессон была с ней?

— В понедельник после обеда она возвратилась поездом в Париж. Я не вправе был удерживать ее. Должно быть, вы заметили, что я еще не совсем разобрался в этом деле? Однако я считаю, что необходимо снова ее допросить.

— Как она выглядит?

— Должно быть, мать выглядела так в ее возрасте, то есть в тридцать восемь лет. На вид дочери не дашь больше двадцати пяти. Минутная, изящная, очень миловидная, с огромными, по-детски ясными глазами. А между тем какой-то мужчина — однако не ее муж — провел ночь с воскресенья на понедельник у нее в спальне, в «Гнездышке».

— Она вам об этом сказала?

— Нет. Это я обнаружил сам, но слишком поздно, чтобы расспросить у нее в деталях. Пожалуй, стоит рассказать вам все по порядку. Дело это намного сложнее, чем кажется с первого взгляда. Я кое-что записывал. Вы позволите?

Он вытащил из кармана роскошную записную книжку в красном нежном переплете, совсем непохожую на дешевенькие блокноты, которыми обычно пользовался Мегрэ.

— В Гавре нас известили в понедельник, в семь утра, а в восемь, придя на работу, я обнаружил на столе записку. Я сел в «сымаку» и примерно к девяти был уже здесь. Шарль Бессон приехал на своей машине чуть раньше меня.

— Он живет в Фекане?

— Да, там у него дом, его семья живет там круглый год. Но с тех пор, как его выбрали депутатом, часть времени он проводит в Париже, где снимает квартиру в гостинице на бульваре Распай. Все воскресенье он провел здесь, с семьей, то есть с женой и четырьмя детьми.

— Он ведь не сын Валентины?

— У Валентины нет сыновей, только одна дочь Арлетта, та, о которой я вам рассказывал. Она замужем за парижским дантистом.

— Муж ее тоже был здесь в воскресенье?

— Нет. Арлетта приезжала одна. Был день рождения ее матери. У них, кажется, в семье обычной навещать ее в этот день. Когда я спросил у Арлетты, каким поездом она приехала, она ответила, что утренним, то есть тем же, что и вы сегодня.

Но вы сейчас убедитесь, что она солгала! В понедельник, как только труп был отправлен в Гавр, я сразу же осмотрел все комнаты в доме. Работа не из легких. Дом хотя и невелик, но обставлен со вкусом, в нем масса всяких закоулков, хрупкой мебели и безделушек. Комнаты Валентины и служанки — на втором этаже, а на первом есть только комната для гостей, в ней-то и останавливалась Арлетта. Перевернув тумбочку, я обнаружил мужской носовой платок, и мне показалось, что Арлетта, наблюдая за мной, вдруг сильно встревожилась. Она живо выхватила платок у меня из рук. «Надо же! Я увезла платок мужа».

К сожалению, я только вечером вспомнил о вышитой на платке букве «З». Арлетта уехала. Я отвез ее на вокзал в своей машине и видел, как она купила билет в кассе.

Сам знаю, что это глупо, но только в машине я вдруг сообразил: почему же, уезжая из Парижа, она не взяла обратный билет? Возвратившись в зал ожидания, я стал расспрашивать контролера.

«Эта дама приехала в воскресенье десятичасовым поездом, не так ли?» «Какая дама?» «Та, которую я только что провожал». «Мадам Арлетта? Нет, мосье». «Разве она приехала не в воскресенье?» «Возможно, она приехала и в воскресенье, но только не поездом. Я проверил билеты и, конечно, узнал бы ее».

Кастэн посмотрел на Мегрэ с некоторым беспокойством.

— Вы меня слушаете?

— Да, конечно.

— Может быть, я рассказываю слишком подробно?

— Да нет же. Просто мне надо привыкнуть ко всему этому.

— К чему?

— Ко всему: к вокзалу, к Валентине, Арлетте, контролеру, Трошю. Ведь еще вчера я ничего не знал обо всем этом.

— Вернувшись в «Гнездышко», я спросил у старой дамы имя ее зятя. Оказывается, его зовут Жюльен Сюдр. Ни имя, ни фамилия не начинаются с буквы «Э». Приемных сыновей мадам Бессон зовут Тео и Шарль. Правда, садовника, приходящего на виллу трижды в неделю, зовут Эдгар, но, во-первых, его не было в воскресенье, а во-вторых, меня уверили, что у него никогда не было больших носовых платков с красной каймой.

Не зная, с чего начать следствие, — продолжал Кастэн, — я принялся расспрашивать людей в городе. И таким образом от продавца газет узнал, что Арлетта приехала не поездом, а в роскошном спортивном автомобиле зеленого цвета. Это упрощало дело. Владелец зеленого автомобиля, оказывается, остановился в воскресенье вечером в отеле, который я вам рекомендовал.

Им оказался некий Эрве Пейро, который записал в карточке для приезжающих, что он винооторговец и живет в Париже на набережной Святых Августинов.

— Ночь он провел не в отеле?

— Он проторчал в баре до закрытия, то есть почти до полуночи, а потом, вместо того чтобы отправиться спать, куда-то пошел пешком, сказав, что идет к морю. Ночной сторож говорит, что Пейро вернулся что-то около половины третьего ночи. Я говорил со слугой, который чистит обувь в отеле, и от него узнал, что на подметках ботинок этого Пейро налипла красная глина.

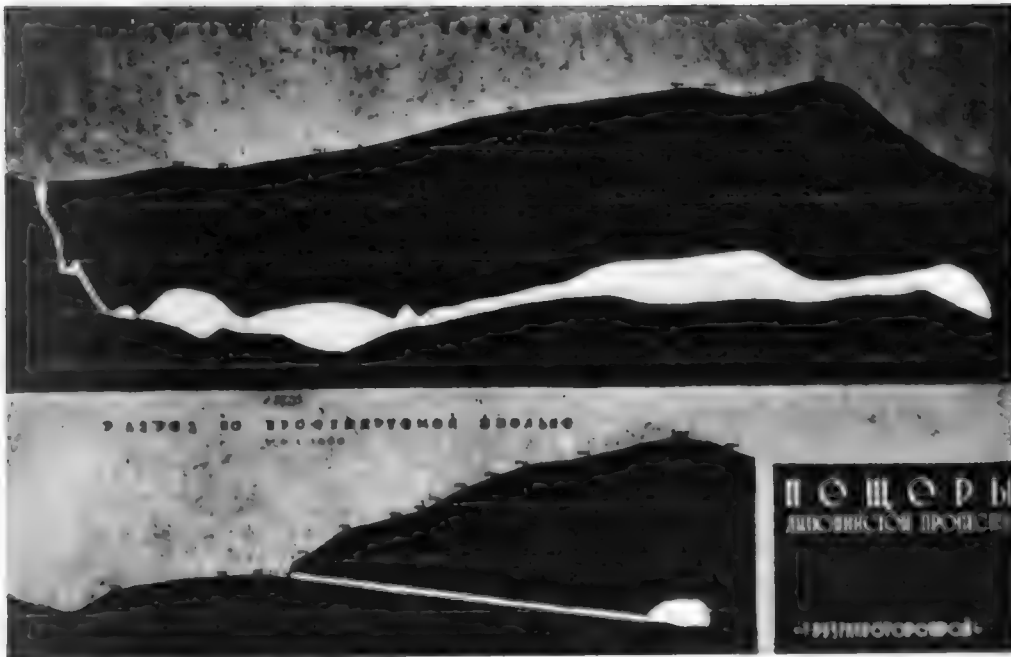
Во вторник утром, вернувшись в «Гнездышко», я обнаружил под окном у Арлетты следы на клумбе. Что вы скажете на это?

— Ничего.

— Ну, а что касается Тео Бессона...

— Он тоже был в доме?

— Но не ночью. Вам ведь известно, что братья Бессон — дети от первого брака, и Ва-



ЭКСПЕДИЦИЯ В ПРОПАСТЬ

В. КАДЖАЛ

Вход в пещеру, прозванный Бездонной ямой, прятался в овраге, в густом кустарнике. Летом по вечерам тут роились летучие мыши. Эти совершенно безобидные и забавные существа незаслуженно пользуются в народе дурной славой. Пожалуй, они-то отпугивали людей от Бездонной ямы больше всего.

Первыми в Ананопийскую пропасть спустились спелеологи Института географии имени Вахушти Багратиони. Сделанное ими описание произвело настоящую сенсацию: пещеры оказались

энстра-класса. Плюс ко всему Ананопийская пропасть расположена в чрезвычайно удобном месте — в Новом Афона, в получасе ходьбы от Иверской горы. Было решено организовать большую экспедицию, чтобы произвести детальное обследование пещер и заснять рекламный фильм. Через два или три года сюда валом пойдут туристы. Им будет совсем нетрудно туда попасть, потому что к тому времени построят тоннель в самый центр подземелья. Здесь будут проложены пластмассовые мостики и дорожки, подсвечены цветными прожекторами превратят пещеры в настоящую сокровищницу Аладина. Но пока нет ни тоннеля, ни прожекторов, и путь в пещеры никак не назовешь легкой туристической прогулкой.

Нас пятнадцать человек. Все пятнадцать должны спуститься вниз. Двое уже на дне пропасти, трое еще наверху, на поверхности земли, остальные разбросаны где-то по всей длине Бездонной ямы. Это совершенно отвесный, черный колодец. Этакая дыра в земле. Впрочем, колодец Бездонная яма кажется лишь с первого взгляда. На самом деле она больше напоминает гигантский дымоход, каменное «иолено» которого тянется метров на тридцать — сорок. Спуск начался в десять утра. Сейчас уже около пяти. Тоже утра. Сутки на веревках. Пятнадцать человек и две тонны груза. И все это в кро-

мешном мраке. Фонари не зажигаем: впереди еще целая неделя, свет надо экономить.

В нашей группе четыре спелеолога. Остальные десять — новички: два архитектора, инженер-топограф, инженер-маршейдер и кинодокументалисты.

— Зураб, готов? — кричит Ладо Каджани. Он страхует свое иолено.

— Давай! — отвечает Зураб Тинтилов. Голос звучит глухо, как в бочке. Ладо и Зураб — опытные спелеологи. В Ананопийской пропасти чувствуют себя как дома.

Ладо предупреждает меня: — Дальше начинается отвес и колодец. Касаться ногами стен не сможешь.

Действительно, метров пять спустился, как обычно, упирался ногами в стены, а потом вдруг беспомощно повисаю в воздухе. От неокрепости резко торможу. Медленно прихожу в себя и соображаю наконец, что же произошло. Просто-напросто колодец расширился, и веревка проходит где-то в самом центре его. Ничего страшного. Поглядываю вниз. Там, на самом дне, мерцают огоньки шахтерок. Господи, до чего же они далеко! Метров 80, не меньше! На самом же деле длина шахты всего 45 метров. Я стал жертвой оптического обмана: в этом мраке расстояния накрутятся обманчиво большими...

Сутки пролетели, словно их смахнули платком. Потом еще шесть часов — и мы под землей. Наш бивак находится у подножия Белой горы — гигантского сталагмита. Это настоящий холм высотой около 14 метров. На гипсовой площадке — белой и чистой, как госпитальная простыня, — в абсолютном беспорядке разбросаны спальные мешки. На мешках — утомленные до предела участники экспедиции. Я взглянул на часы. Ровно восемь. Но восемь чего? Утра, вечера? Делаю подсчет. Оказывается, вечера. Вот так приходится определять день и ночь, арифметически. Впрочем, день — это сказано совершенно условно. Под землей нет ни дня, ни ночи. Время здесь не имеет внешних примет. Здесь всегда мрак.

Я нигде больше не встречал такого мрака, как под землей. Это мрак живой, его можно пощупать рукой. Луч фонаря теряется в его вязкой черноте. Пятнышко света на фоне громадных стен, потонувших в темноте, кажется призрачной игрой воображения, галлюцинацией. Тишину нарушает лишь журчанье ручья. Стая в воронки, вода издает таинственные, мелодичные звуки.

Ананопийская пропасть совершенно исключительна. Здесь семь залов, и каждый по-своему неповторим. «Зал грузинских спелеологов» покоряет размерами — а не-

го можно упрятать, как в футляр, московский стадион «Динамо».

«Храм» — один из самых высоких подземных залов в мире, его высота колеблется где-то в пределах 70 метров. Он напоминает заброшенную церковь. Тишина, таинственность. Тут есть свой «алтарь» — зал «Фантазия», приоткрытый на высоте около 40 метров. В нем я впервые увидел редкие сталагмиты, удивительно напоминающие китайские пагоды. Тысячелетние натеки известной воды образовали кристаллы причудливой формы.

Добраться до «пагоды» довольно сложно. Особенно тяжел отрезок пути, заваленный гуано. Видно, здесь когда-то гнездилась большая колония летучих мышей. Правда, мышей мы не встретили.

«Зал галентитов» — жемчужина Ананопи. Это вовсе и не зал, его не сравнить с гигантским «Храмом», это просто небольшой грот, словно созданный воображением Шехеразады. Стены сплошь покрыты тонкими кристаллическими образованиями, имеющими вид застывших сосновых веточек, а потолок похож на опрощенный ирономин вниз, запыленный ином лилипутский лес. Эта странная волшебная растительность ное-где цепляется к толстым сосулькам сталактитов, покрывая их сверкающими султанчиками. Изумительно красивые пол: кажется, что грот устлан белой паршой, инкрустированной бриллиантами. Кристаллы, выпавшие в гипс, переливаются миллионами огоньков.

...Как хорошо сидеть вот так, расслабив все мышцы, и ни о чем не думать! Лагерь тихо гудит. Что-то рассказывает Ладо, и время от времени слышится его смех. Около него зоится с рюкзаком Эрино Гермешавили, кинооператор, и что-то насчитывает. Пошел за водой дежурный. Своим движением он всколыхнул воздух, и пламя свечи испуганно затрепетало. По стене побежали огромные неясные тени. Каким жалким кажется огонек в этом царстве вечной ночи, каким маленьким выглядит человек перед этими страшными тенями! Но огонек горит, и перед ним отступает мрак. А тень — это же моя тень. И какой бы великой она ни была, она все-таки моя тень, и без меня она нуль.

— О чем ты думаешь? — спрашивает меня Эрино.

— Да так, да и не знаю. — Я сегодня здорово устал, — говорит Эрино. — Сегодня был тяжелый день.

— Зато ты снял «Храм». Это будет гвоздем твоего фильма.

— Да, «Храм» — это, конечно, сказка. А ты представляешь, когда через три что здесь будет? Каменный день — четыреста туристов. Подошло время возвращаться

лентина не их мать. Я записал всю родословную семьи и, если хотите...

— Только не сейчас. Я голоден. — Короче, Тео Бессон — холостяк, ему сорок восемь лет. Уже две недели, как он отдыхает в Этрета.

— У мачехи? — Нет. Они не встречаются. Мне кажется, они в ссоре. Он снял комнату в отеле «Белые сналы», который виден отсюда. — Значит, он не был на вилле? — Погудите, дело в том, что Шарль Бессон...

Бедняга Кастэн вздохнул, отчаявшись толково изложить дело. Особенно его смущало то, что Мегрэ, казалось, совсем его не слушает.

— В воскресенье утром Шарль Бессон приехал в одиннадцать часов вместе с женой и четырьмя детьми. У них свой автомобиль, огромный «панар» старого образца. Арлетта приехала до них. Они все вместе позавтракали в «Гнездышко». Затем Шарль Бессон отправился на пляж со старшими детьми: мальчиком пятнадцати лет и девочкой двенадцати. А в это время дамы болтали.

— Он встретился с братом? — Совершенно верно. Подозреваю, что Шарль Бессон затеял эту прогулку, чтобы опровергнуть слухи о том, что он в беде. По слухам, он не дурак выпить. Там он и повстречал Тео, о присутствии которого в Этрета не подозревал, и настоял, чтобы Тео пришел с ним в «Гнездышко». Тео в конце концов дал себя убедить. Итан, за обедом семейство было в полном сборе. Обед был холодный — лангусты и жареная баранина.

— Обед никому не понравился? — Нет. Кроме членов семьи, в доме была лишь служанка. Шарль Бессон уехал в половине десятого. Его пятнадцатилетний сын Клод проспал все это время в комнате хозяйки, а но-

гда все уже садились в машину, заплакал их шестимесячный младенец, и ему пришлось дать соску.

— Как зовут жену Шарля Бессона? — Кажется, Эмилиенна. Хотя все зовут ее Минни.

— Минни, — с серьезным видом повторил Мегрэ, как будто заучивал наизусть урок.

— Полная бронетанка лет сорока. — Полная бронетанка? Там-там. Значит, они уехали около десяти?

— Совершенно верно. Тео задержался на несколько минут. И затем, кроме трех женщин, в доме никого уже не оставалось.

— Валентина, ее дочь Арлетта и Роза? — Совершенно верно. Роза мыла посуду на кухне, а мать и дочь болтали в гостиной.

— Все комнаты на втором этаже? — Кроме комнаты для гостей, как я вам уже объяснял. Она на первом этаже, она выходит в сад. Вы увидите «Гнездышко» — настоящий музольный домик, с крошечными комнатами.

— Арлетта не поднималась в комнату и матери? — Около десяти часов они вместе прошли туда: старой даме захотелось похвастаться перед дочерью новым платьем.

— Спустились они вместе? — Да. Затем Валентина снова поднялась к себе — укладываться спать. Через несколько минут за ней прошла Роза. Она обычно помогала хозяйке лечь в постель и подавала ей снотворное.

— Она же его и готовила? — Нет. Валентина заранее заготавливает лекарство в стакан с водой.

— Арлетта больше не поднималась? — Нет. И в половине двенадцатого Роза тоже легла спать.

— А около двух часов она начала стонать? — Это время называют Арлетта и ее мать.

— И, значит, по-вашему, между полуночью и двумя часами в комнате Арлетты находился мужчина, с которым она приехала из Парижа? А вам неизвестно, чем занимался Тео этой ночью?

— До сих пор у меня не было времени выяснить это, и, признаюсь, мне даже и мысль такая не приходила.

— Что ж, пойдем завтракать.

— С удовольствием.

— А здесь можно заказать ранушин и соус? — Думаю, можно. Хотя не уверен. Я только знакомлюсь с меню.

— Сегодня утром вы побывали в доме родителей Розы?

— Только в первой комнате, где стоял гроб. — Нет ли у них ее хорошей фотографии?

— Могу спросить.

— Сделайте это. Возьмите все фотографии, какие только сможете найти, даже детские, всех возрастов. Истину, сколько ей было лет?

— Двадцать два или двадцать три. Рапорт составлял не я,...

— Она, кажется, давно слушила у старой дамы?

— Семь лет. И Валентина она поступила совсем молоденькой, еще при жизни Фернана Бессона. Плотная, румяная девушка, с пышным бюстом...

— Она никогда не болела? — Доктор Жюлли ничего об этом не говорил. Думаю, что он сказал бы мне.

— Хотелось бы знать, были у Розы поклонники или, может быть, любовники?

— Я тоже подумал об этом. Как будто нет. Она была очень серьезной девушкой и радио выходила из дому.

— Может быть, ее не отпускали? — Я не совсем уверен, но похоже, что Валентина строго следила за ней и неохотно давала выходные.

ИСТОРИЯ НА КОЛЕСАХ

У входа в зал «Тбилиси».

наверх. Все очень устали. Восемь суток под землей — это все-таки утомительно. Особенно если все восемь дней работать без отдыха, на всю катушку. Кроме того, у нас кончились продукты. Колбасу, картошку и мясные консервы мы съели и последние два дня дождали то, что не поели в первые шесть, — сайру и шоколад. В отдаленности и то и другое бывает очень вкусно, но вместе... В общем, нам хотелось есть. Джамал Грикуров, наш светотехник, большой балагур, с печалью в голосе жаловался:

— Какой у меня был хороший живот — большой, красивый! А сейчас?

Хотелось курить. Сигареты тоже кончились. Хотелось принять горячий душ и выпастись в сухой, чистой постели. Наконец приказ:

«Готовиться к подъему!»

Мы кринкнули «Ура!» и стали дружно укладываться.

На верхнюю площадку мы выбрались перед самым рассветом. Отсюда был виден кусочек неба — синий-синий, усеянный яркими звездами. Потом небо стало светлеть, звезды погасли, а может, просто растаяли. Наступал день. Настоящий день.

У Бездонной ямы нас ждала толпа. Пришли окрестные жители, курортники. Мы вылезали по одному — грязные, как черти, бородастые и, наверное, на вид немного ненормальные. Одним словом, подземные духи.

Все это время они гуляли вдоль берега. Мерз не сводил глаз с моря, но словно даже не замечал его. Все было кончено. Утром в Бреотэ-Безвилле он еще испытал приятное волнение. Игрушечный поезд напомнил ему о прежних каникулах. А сейчас он уже не замечал цветных купальников женщин, ребят, растянувшихся на гальке, не ощущал йодистого запаха водорослей. Лишь мельком осведомился, будут ли к обеду ракушки в соусе. Голова его была заполнена новыми именами, которые он пытался разместить в своей памяти так, как сделал бы это в своем кабинете на набережной Орфевр. Вместе с Кастэном он уселся за стол, накрытый белой скатертью, на котором в узкой вазе поддельного хрусталя стояли гладиолусы. Может быть, это признак старости? Он повернул голову к окну, чтоб еще раз увидеть белые барашки на море, и его огорчило, что он снова не почувствовал никакого душевного трепета.

— Много было народу на похоронах?

— О, там был весь Ипор, не считая приехавших из Этрета и таких местечек, как Лож, Во-котт; были и рыбаки из Фенана.

Ему припомнились деревенские похороны, даже показалось, что он вдыхает запах нальвадоса. И он спросил с самым серьезным видом:

— Наверно, мужчины напьются сегодня вечером?

— Весьма возможно, — согласился Кастэн, слегка удивленный ходом мыслей прославленного комиссара.

Ракушки в меню не оказалось, на закуску они заказали сардины в масле и сельдерей под острым соусом.

Продолжение следует.

Фото Л. Бородулина.

Удивительно выглядели улицы столицы в минувшее воскресенье. К центру города из разных районов стекались колонны автомашин. И люди, которые давно перестали замечать своего постоянного спутника — автомобиль, останавливались и подолгу смотрели на необычное зрелище. Мимо москвичей медленно катилась — иначе и не скажешь — вся история автомобилестроения. Первые, как их называли раньше, «безлошадные экипажи»: «бенц», «бебе-пежо», «руссобалт», советские «АМО-Ф-15», «ГАЗ-А», «КИМ-10», знаменитые «эмки» и полторки совершили свой почетный рейс по улицам столицы.

Этот парад по праву возглавил рысак «Гиадинт», впряженный в экипаж XIX века. Кстати, в начале нашего столетия на всем земном шаре насчитывалось всего несколько тысяч машин. Ко времени легендарного караумского пробега их уже было десятки миллионов. Специалисты подсчитали, что к первому январю 1967 года число автомашин на планете возрастет до двухсот миллионов.

Многие из современных автомобилей прибыли на праздник прямо с уборки урожая. Необычайный парад «истории на колесах» завершился в Лужниках митингом участников праздника.



Хорошее отношение к лошадям...



«Антилопа-Гну» на столичных улицах.

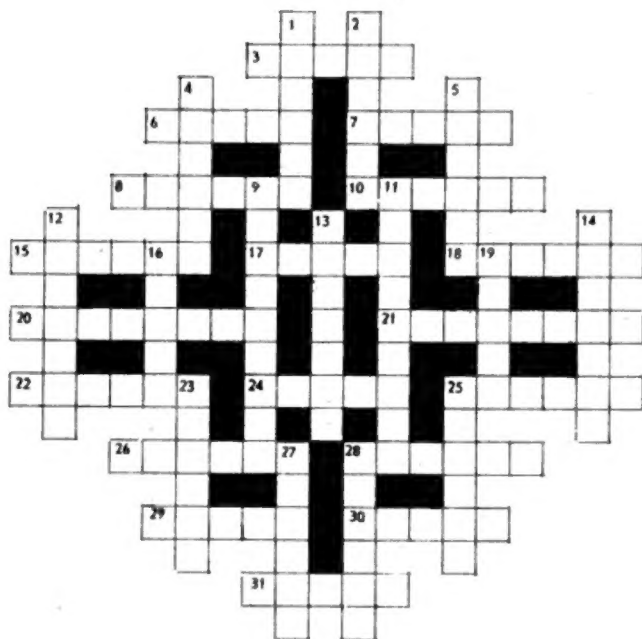


Старичка «бенца» пришлось взять на буксир.

Дедушка...

Внук... ↓





КРОССВОРД

По горизонтали:

3. Резной камень. 6. Надстройка на палубе судна. 7. Музыкальный лад. 8. Водоплавающая птица. 10. Рассказ из «Записок охотника» И. С. Тургенева. 15. Штат в США. 17. Цвет краски, оттенок. 18. Горная порода, мелкие зерна корунда. 20. Остров в Индийском океане. 21. Часть фотоаппарата. 22. Песчаный холм. 24. Древнейшая грузоподъемная машина. 25. Английский астроном. 26. Станционное здание. 28. Мастерская художника, скульптора. 29. Французский писатель эпохи Возрождения. 30. Каспийская сельдь. 31. Принадлежность карнавального костюма.

По вертикали:

1. Народный поэт Дагестана. 2. Малая планета. 4. Порт в Болгарии. 5. Футляр для стрел. 9. Шахматный ход. 11. Аппарат, в котором поддерживается постоянная температура. 12. Первый журнал пионеров нашей страны. 13. Стеклообразный слой на керамике. 14. Русский историк. 16. Залив Охотского моря. 19. Персонаж повести А. И. Герцена «Сорока-воронка». 23. Сахаристый сок медоноса. 25. Остаток при перегонке нефти. 27. Город в Латвийской ССР. 28. Действующее лицо оперы Дж. Пуччини «Чио-Чио-Сан».

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, НАПЕЧАТАННЫЙ В № 41

По горизонтали:

4. Виджаявада. 7. Тура. 10. Экспромт. 11. Яблочков. 12. Динамик. 14. Трап. 16. Гротеск. 17. Ньюфаундленд. 20. Эстрада. 21. Ашуг. 23. Якобсон. 26. Вистрица. 27. Алюминий. 28. Азов. 29. Вертишейка.

По вертикали:

1. Одетта. 2. Кьяманча. 3. Сафьян. 5. Склифосовский. 6. Оправа. 8. Очиток. 9. Консерватория. 13. Корюшка. 14. «Тачанка». 15. Предлог. 16. Галерея. 18. Карета. 19. Вабуни. 22. Шебалин. 24. Фанера. 25. Гавайи.

На первой странице обложки: У входа в Московскую государственную консерваторию имени П. И. Чайковского.

Фото Л. Шерстенникова.

На последней странице обложки: Осень в Алма-Ате.

Фото А. Бочинина.

Главный редактор — А. В. СОФРОНОВ.

Редакционная коллегия: И. В. ДОЛГОПОЛОВ (главный художник), Б. В. ИВАНОВ (заместитель главного редактора), Н. Н. КРУЖКОВ, Л. М. ЛЕРОВ, В. Д. НИКОЛАЕВ (ответственный секретарь), И. Ф. СТАДНЮК (заместитель главного редактора), Л. Л. СТЕПАНОВ, Н. П. ТОЛЧЕНОВА.

Адрес редакции: Москва, А-15, Бумажный проезд, 14. Рукописи не возвращаются. Оформление Л. ШУМАНА.

Телефоны отделов редакции: Секретариата — Д 3-38-61; Отделы: Внутренней жизни — Д 3-37-61; Международной — Д 3-38-63; Искусств — Д 0-46-98; Литературы — Д 3-31-10; Информации — Д 3-32-45; Библиографии — Д 3-38-26; Научи и техники — Д 0-14-70; Юмора — Д 3-32-13; Спорта — Д 3-32-67; Фото — Д 3-39-04; Оформление — Д 3-38-36; Писем — Д 3-36-28; Литературных приложений — Д 3-30-39.

А 17510. Подписано к печати 12/X 1966 г. Формат бум. 70×108 $\frac{1}{4}$. 2,5 бум. л. Печ. л. 5,0. Усл. печ. л. 7,0. Тираж 1 990 000. Изд. № 1931. Заказ № 2742.

Ордена Ленина типография газеты «Правда» имени В. И. Ленина. Москва, А-47, ул. «Правды», 24.



— Знакомься, мама, это мой первый муж!



— Надо же научить ребенка ходить!

Рисунки В. Тильмана.



— Вот, здесь...

Рисунок А. Грунина.



— Вот такого мамонта убили!..

Рисунок О. Корнева и Н. Станиславского.



— Бедненький, даже во сне о производстве печется!



— И это, по-вашему, формула «царской водки»?

Рисунки П. Гейвандова.

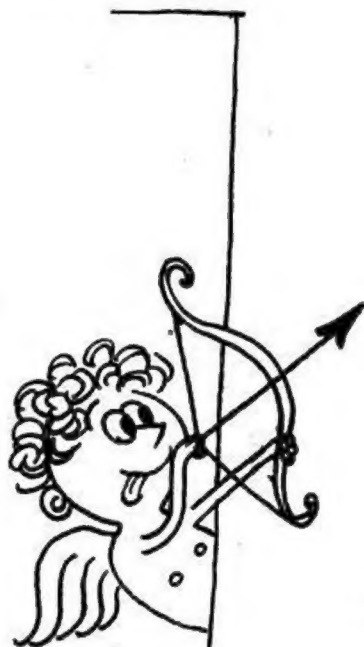


— Алло! Я решил тебя предупредить, что на охоту сегодня не поеду...

Рисунок А. Грунина.

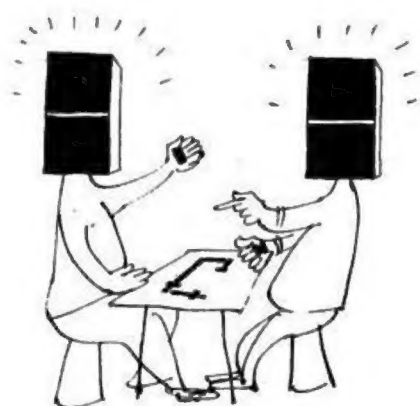
Семейный экипаж.

Рисунок Ю. Черепанова.



Без слов.

Рисунок В. Шкарбана.



— Пусто-пусто!



— Смотри, удрал. Говорила же, рано ему дарить детский столярный инструмент!

Рисунки В. Воеводина.

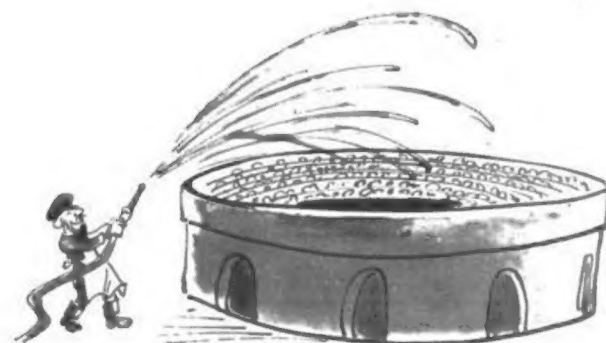


— ?..
— Это от частой смены мест работы.

Рисунок В. Волкова.

Дворник-болельщик.
— Говорят, что «Спартак» везет в дождь.

Рисунок А. Грунина.



Цена номера 30 коп.

Индекс 70663

